

*Л. Параскевич*

ЧТО ГЛАЗА МОИ ВИДѢЛИ  
II.  
РЕВОЛЮЦІЯ И РОССІЯ.



1 9 2 1

---

ИЗДАНИЕ ОЛЬГИ ДЪЯКОВОЙ и Ко.  
ВЪ БЕРЛИНѢ.

Этот труд напечатан в количестве пяти тысяч экземпляров, из которых сто на лучшей бумаге.

Все права сохранены за автором

## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

На склоне дней моих глаза мои видели «великую» русскую революцию.

Ту великую, которая, в лихую годину тяжелой войны, обрушилась на обессиленную Россию, и, тотчас же забыв о ней (т. е. о России), занялась «самоуглублением».

К чему это привело, — надо ли говорить?..

Ее «самоуглубление» еще продолжается, крови пролилось много, но ее запас еще не иссяк на святой Руси.

О такой именно русской (если хотите, — «великой», по размерам бедствия) революции имеется зловещее предсказание у знаменитого Жан-Жака Руссо, в его «Contract Social».

Но те, кто искали спасения России именно в революции, к сожалению, не только не задумывались над пророческой страничкой Руссо, но были вообще, далеки от всякого предвиденья.

Вот, что мы читаем у Руссо по поводу теперь сбывающегося с Россией:

«Для нации, как и для людей, наступает пора молодости с совершеннолетием, которого нужно дожидаться ранее, чем подчинять их законам. Совершеннолетие нации не всегда легко распознать, и если его упредить — пропало дело. Иной народ готов для усвоения дисциплины от самого зарождения своего, иному и в десяток столетий это не дается.»

Русские никогда не будут по настоящему шлифованными, потому что над ними стали проделывать это слишком рано. Гений Петра, был гений подражательный; это не был подлинный гений, творящий из ничего. Кое-что из того, что он сделал было хорошо, но, в большей своей части, неуместно. Он видел, что народ его еще в состоянии варварства, но не видел того, что он еще не созрел для окончательной шлифовки; он хотел цивилизовать его, когда надо было начать с того, чтобы сделать его твердым. Он затеял творить из своих подданных немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы сделать русских; он навсегда воспрепятствовал своим подданным стать тем, чем они могли быть, вбив им в голову, что они то, чем они не были. Так иной французский наставник ведет своего воспитанника к тому, чтобы он блистав в детстве, оставаясь потом навсегда ничем.

Российская Империя пожелает подчинить себе Европу, но сама будет подчинена. Татары, ее собственные подданные или соседи станут ее господами и подобная революция мне представляется неизбежной. Все европейские правительства дружно работают над ускорением этого.

Не считаться с такими предсказаниями, особенно сейчас, когда оно уже в большей своей части сбылось, значило бы закрывать глаза. Можно только удивляться еще прирожденной силе русского народа, который выносил стойко все правительственные над ним эксперименты и сдал только в период общечеловеческих бедствий.

Оговариваюсь заранее: я отнюдь не славянофил, в том узком смысле и квасном вкусе, как это принято у нас понимать, но я и не западник того типа, которым щеголяла наша литературная и всякая иная «интеллигенция», полагавшая все свое призвание в пересадке на русскую, неудобренную почву, самых дорогих и ценных цветков европейской культуры, возвращенных чужим трудом и политых потом и кровью других народов. На даровщину эти ценности не приобретаются; прочно только

то, что добыто своими усилиями, что вписано на страницы своей истории собственной кровью.

Начать хотя бы с декабристов, ореол славы которых живет исключительно их мученическим концом и чертами рыцарского благородства некоторых отдельных личностей. Вне этого, какая ребяческая, туманно-подражательная программа, какой нелепый замысел объять необъятное, когда в то время у России была единственно насущная задача: мирное освобождение крестьян от крепостной зависимости. Веди они только эту пропаганду, словами и примером, они не были бы декабристами, а практическими гуманистами высокого закала и их деятельность не осталось бы для России без культурно-реальных плодов.

Не даром Лев Толстой начал было и бросил писать свой роман, сюжетом которого должны были явиться декабристы. Они достойны простой исторической справки, но это не герои эпопеи.

Нигилизм, охвативший Россию в начале царствования Александра II, не иллюстрирует ли беспочвенность русской интеллигенции... И в какую минуту, когда мирной просветительной работе, не будь его эксцессов, с пожарами и террористическими актами, открывался уже значительный простор. Его антикультурные проявления достаточно охарактеризованы в «Бесах» Достоевского, чтобы интеллигенция, жаждавшая во что бы то ни стало «великой» революции для России, могла считать себя не предупрежденной относительно неизбежности тех отвратительных ее последствий, которые вылились теперь. Ряд террористических актов, которым на протяжении многих лет сочувствовала, если не поощряла «интеллигентная» Россия, в конце концов, не принося никакой практической пользы, "только развращала" народные массы, разнуздывала, их совесть, давала образчик самоуправных, кровавых расправ, якобы неизбежных, в поступательном историческом движении нации.

Оговариваюсь, раз и навсегда, относительно абсолютизма нашей монархии, правительства и всего того, что правило народом официально и, якобы, властно. Все это было в огромном большинстве своем ниже всякой критики, не только вне всякой определенной программы, но и малейшей продуманности. Непонимание собственных интересов правящих, сталкивающееся с таким же непониманием интеллигенции и ее неумением исповедывать не одни революционные мечты, а мирно-просветительные задачи, приводило к тупо-кровавому упрямству с той и с другой стороны, оставляя реально-насущные интересы страны вне этой вечной борьбы правительства с революционно-натасканной, раз навсегда, интеллигенцией.

Когда мы говорим теперь, задним числом, о наших «тиранах монархах» становится и стыдно и смешно. Они могли бы быть в свое время тиранами и, пожалуй, хуже, что ими не были, во вкусе Иоанна Грозного. Это, по крайней мере, заставило бы нашу «чеховскую» интеллигенцию, хотя бы ради шкурного своего бытия, быть не тем кисельно-ноющим, серым стадом, ожидающим спасения от отдельных мучеников террористов. Кликни в свое время любой «тиран» свой клич к народу, посули ему хоть горсть тех обещаний, которые пригоршнями рассыпали ему и наши думцы и наши революционеры относительно раздачи земель, неплатежа налогов и прочее, и кроме царя и народа ни одной живой души не осталось бы в России. Всю интеллигенцию смело

бы, как будто ее никогда не существовало.

Но, увы! — цари наши были и беспутными, и легкомысленными и недоумками, но тиранами, желающими сами со своими потомками, только уцелеть на престоле, во что бы то ни стало, никогда не были. Три таких колосса мысли и чувства, как Пушкин, Гоголь и Достоевский, кончили тем, что поняли это, и провидели в царе слугу народа, при условии мирной и длительной ему подмоги, а не вечной разбойничьей травли из-за угла.

Царствование Александра II с первых же шагов было сплошную его травлею из-за угла, и не чему удивиться, что под конец его царствования это уже был травленный заяц, а вовсе не самодержавный монарх, не знавший где и как искать опоры.

И самое убийство его Перовской и К<sup>о</sup> накануне, какой ни на есть, «конституции», могущей открыть брешь к правильному политическому развитию России, не было ли все тем же характерным девизом нашей недисциплинированной интеллигенции: «все или ничего!»

Только цари, приближавшееся сколько-нибудь к типу «тиранов», умерли у нас своею смертью.

Уцелевали до конца именно те, которые отвечали: «ничего»!

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

В сущности положение наших самодержцев было всегда, более или менее, трагически-жалким.

Официально считалось, что русское дворянство — надежнейшая опора престола. Но о нашем, так называемом, дворянстве говорить нельзя иначе, как с величайшими оговорками и в этом, опять таки, великий грех Великого Петра. Как ни как, но древнее боярство имело свои корни, свои заслуги, свою историю, свой авторитет у народа. Оно барахталось и мужественно проявляло себя даже при Иоанне Грозном. Правда, оно не сумело сделать государственного дела, как это сделало английское дворянство захватившее своевременно всю власть в свои руки и не во имя своих кастовых интересов, а во имя блага страны. Но все же в боярстве были и близость к народу и кое-какие нравственно-бытовые устои, которые беспощадно смела все та же европейская метла Петра Великого.

Созданное им и его потомками наше служилое дворянство, за небольшими исключениями, все пошло от прислужников и авантюристов, нередко иноземного происхождения, от любовников наших цариц, от сводников, наушников и прочей царской челяди, искавшей только подачек у подножья трона.

Наследственность довольно сомнительная. Чего же было ждать от такого «сословия»?!

При этом при заверениях в своем «патриотизме» при официальных случаях, полное отсутствие любви и всякой связи с родиной.

Одаренные выше меры за счет России, они проживали эти состояния, большею частью, за границей, забывая о России, картавая, коверкая и портя родную речь.

У трона, оттеснив родовитое, дворянство, в последнее время, теснилась стая случайных людей, стоявшая плотной стеной между царем и народом, и не было лжи и подвоха, к которым эти молодцы не прибегали бы, чтобы ослепить царя своими заверениями о «благополучии России».

В сущности наши «тираны» почти все были безвольными тряпками,

игрушками в руках тех, или иных бюрократов, правивших Россией. И наше «первое» сословие вместо мирной, но стойкой оппозиции, охотно мирилось с ними, кто бы они ни были, ради подачек и своих исключительных выгод.

Стойким «тираном» у нас считался Александр III.

На короткохвостом, но грузном коне, не русского типа, в виде тяжеловесного монумента, изобразил его Трубецкой. А, в сущности, он все свое царствование проездил на доморощенных безъездных саврасах, жадно отъедавшихся на государственных харчах.

Двое типичнейших заправил этого царствования: Муравьев и Витте. К концу царствования Александра III их недаром величали узурпаторами царской власти. Они непосредственно подготовили печальное царствование несчастного Николая, поплатившегося за вся и за всех.

Как же реагировало на их своекорыстную политику наше дворянство, наше «первое сословие» ?

Приемная того и другого (как впоследствии у Распутина) всегда была набита именно просителями этой «красы и гордости» нации, но ничего не просили и не требовали они для страны, для народа, а исключительно кланчили выгод и подачек для себя.

Характерные примеры бывали басней города.

Например, история с восстановлением имущественного благоденствия рода князей Б. Не к царю пошли они за этим, а к Витте. Я знал адвоката, который «провел» это дело, он и поведал мне какими психологическими путями и этапами интимного характера пришлось достигать благоприятного результата.

При содействии министра юстиции Муравьева была учреждена Высочайшая опека, широко использовавшая казенные субсидии для частных интересов. «Весь Петербург» скоро узнал, «где зарыта собака».

Супруга всеильного финансиста, не принятая ко двору и бойкотируемая «высшим светом», скоро стала показываться в ложе чопорной княгини В., и стала посещать княжеский дворец, о чем не смела мечтать раньше.

Это пример только случайный.

И Витте и Муравьев, с легкой руки Победоносцева, были настоящими узурпаторами и развратителями самодержавной царской власти.

По формуле наших «основных законов» самодержец управляет Россией «на твердом основании законов». Никто менее их не стеснялись ни законами ни традициями. Одно время они были типичнейшими правительственными жонглерами, заботящимися исключительно об удержании лично за собой власти, а с нею вместе и благ земных.

Если раньше неумно правили Россией родовитые, но бездарные сановники, честные по своему, но не видевшие дальше своего носа, то зато эти не могли не видеть в какую пропасть они ее ведут и, достойных предшественников Распутина не даром, из деликатности по иностранному, окрестили весьма нелестным прозвищем к концу правления Александра III-го.

Но они, и им подобные, оставались еще долго у власти и при Николае II-м.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Еврейский вопрос в России всегда был больным местом, не только

нашей государственности, но и общественности.

Черта оседлости и всевозможные правовые ограничения, парализуя для еврейской трудоспособной массы возможность ассимиляции и органического приобщения к интересам России, создавало внутри самого государства непримиримых и весьма опасных врагов нашего государственного режима. На этой почве процветали и приемы деморализующего характера, выработанные администрацией, обязанной проводить в жизнь дробную регламентацию такого искусственного неравноправия.

Еврейская масса, от которой брезгливо отворачивалась «опора» трона и правящие классы, сплошь бедствовала и бывала нередко жертвою правительственных экспериментов в виде бессовестно диктуемых погромов (например, Кишиневский погром при Плеве) и, в то же время, еврейские мошны наихудших спекулянтов, набитые при помощи казенных воровских поставок и столь же воровских биржевых и банковских афер, властно позвякивали, пробивали себе дорогу решительно всюду, где нужно было развратить и обессилить власть, или нарушить закон.

Интеллигентная еврейская молодежь, особенно болезненно страдавшая от подобной постановки в России «еврейского вопроса», естественно, стремилась увеличить собою поток кроваво-террористических выступлений.

В сфере общественности, именно юридическое неравноправие евреев, вело к выработке лишь двух крайних, лишенных вдумчивости и беспристрастия, отношений к «еврейскому вопросу». Известные общественные элементы являлись поголовно непримиримыми юдофобами, не терпящими самого духа еврейской нации, одобрявшими и погромы и самые нелепые репрессии; лучшие сознательно являлись юдофилами, в самом широком значении этого слова, брезгливо опасаясь, даже критикой отдельных отрицательных черт и личностей, унизиться до нанесения удара лежащему.

Молчаливое соглашение по этому предмету, не всегда и не всеми, истолковывалось и понималось правильно.

Противники евреев характеризовали его, как страх перед еврейским засильем в сфере материальных отношений, иные же еврейские круги не прочь бы усматривать в этом просто слабость и невольное признание превосходства еврейской культуры.

Под шумок таких настроений, например, русская прекрасная речь безнаказанно загромождалась в повседневной печати иностранно-еврейскими вывертами и словечками, а сфера деловых и материально-экономических комбинаций и отношений, почти без боя и должной конкуренции, уступалась в распоряжение еврейских дельцов.

Юридическое бесправие еврейства, обязывавшее русскую интеллигенцию, по чисто моральным основаниям, к значительной пассивности в деле оценки даже явно отрицательных явлений, получало сплошь санкцию какой-то торжественной апологии еврейства.

Благодаря такому положению вещей, и при расплывчатой мягкотелости русского народа, замкнутая сплоченность еврейства в России являлась могучею силою.

Сила эта, именно в виду ее юридического бесправия, не могла вылиться иначе, как в силу революционную, разлагающую нашу государственность.

Еврейство вообще склонно быть ржавчиной всякой

государственности. Оно незримо, но неустанно разлагает ее. Не имея собственного государства (территории, в этом смысле «отечества»), каждому еврею естественно более улыбается быть «гражданином Мира», нежели смиренным подданным той, или иной державы. А быть подданным государства, где явно афишировалось (как в России) его бесправие и практиковался унижительный процентный учет даже на образованность, явно невыносимо.

Русское еврейство естественно стремилось всеми средствами и усилиями сбросить с себя ярмо юридического рабства. Теперь сами евреи не скрывают свое широкое участие в деле подготовки нашей «великой» революции.

Одного, искусственно, щегловитовским правосудием, созданного, процесса злополучного Бейлиса (не говоря уже о предыдущих погромах), которым близорукая власть имела в виду «доконать» все еврейство, было через меру достаточно для революционного возбуждения русского еврейства.

Если пророчество Достоевского сбылось, и евреи «погубили Россию», то остается самим русским учесть этот жестокий урок истории и попробовать воскресить ее.

Одной юридической жестокости и нравственной общественной дряблости для бытия государства, очевидно, недостаточно.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Раз зашла речь о русском еврействе, невольно воскресает в моей памяти светлый образ такого «русского еврея», как А. Я. Пассовер, страстно любившего Россию, ее быт, ее литературу. С предусмотрительною терпимостью он прощал ей ее временные недочеты и твердо верил в мирное развитие ее светлого будущего. Он считал большой ошибкой со стороны самодержцев не дать всем своим подданным основных устоев равенства, широкой образованности и законности, что могло бы сразу изменить группировку революционных настроений в империи.

Поляки, финны, евреи, благодаря своей большой жизненной закаленности, по его мнению, могли явиться гораздо более надежной стеною против крайних революционных натисков, нежели сами русские, вообще органически туго понимающие и воспринимающие культурность дисциплины. Он восторгался Н. Н. Герардом, когда тот в качестве Финляндского генерал-губернатора, после революции 1904—1906 гг. сумел в короткий срок завоевать себе популярность среди финнов и добиться без диких репрессий умиротворения края.

Кстати о Н. Н. Герарде.

Когда он подвергся жестокой травле со стороны «Нового Времени», именно в качестве Финляндского генерал-губернатора, он часто бывал у меня в виду процесса «о клевете», который он счел себя вынужденным повести против названной газеты. Раньше, нежели начать процесс, оставаясь еще в должности генерал-губернатора, он решил доложить о своем намерении Государю, чтобы получить на это его санкцию. Характерно его объяснение с царем.

На письменном столе Государя, как раз лежала целая кипа номеров «Нового Времени». Герард и начал с того, что, указав на них, выразил уверенность, что царю известны все выпады этой газеты против его политики в Финляндии, причем характеризовал эти выпады, как

преднамеренную клевету сторонников иной, чем он, политики обрусения окраин. Государь быстро отодвинул от себя газеты, заявив: «я этого не читал!» Герард не вполне понял, что это должно было означать: что он вообще не читает «Нового Времени» или только статей направленных против него.

На вопрос как он, Государь, отнесся бы к его намерению возбудить публичный судебный процесс, с целью установления в общественном мнении правильного государственного взгляда на его отношения в Финляндии, царь сказал: «да, это было бы хорошо. Вполне одобряю Ваше намерение».

Во время этой аудиенции и нескольких последующих Государь был, как никогда любезен и даже ласков с Н. Н. Герардом. Он интересовался его будущим процессом, спрашивал кто его адвокат и каково мнение последнего относительно шансов выигрыша процесса.

Н. Н. по его словам передал Государю в общих чертах мой отзыв о возможной судьбе процесса. Дела о клевете в печати судились в то время коронным судом, без участия присяжных заседателей. С присяжными процесс безусловно был бы выигран, так как политика Герарда по отношению Финляндии была умна, целесообразна и всецело отвечала общегосударственным интересам. Но я опасался Щегловитовского давления на совесть коронных судей, которое в сенсационных процессах благодаря подбору судей, уже систематически сказывалось. Влияние «Нового Времени» на прислужников власти было в то время также очень сильно. Разумеется, в устах Герарда мой отзыв получил более парламентскую окраску, он упомянул лишь о том, что в числе коронных судей могут оказаться убежденные противники его политических взглядов на задачи Русского Правительства по отношению к нашим окраинам.

Тема эта, очевидно, очень заинтересовала Государя, он комфортабельно усадил Герарда в мягкое кресло и стал, не спеша и обстоятельно, беседовать с ним об этом. Резюмированное мнение Н. Н. Герарда по этому вопросу было таково: Финляндия, Польша и Кавказ явились бы наилучшим оплотом внешней и внутренней безопасности России при условии надлежащего отношения к ним со стороны высшего Правительства. Финляндия и Польша заслуживали бы полной автономии, с сохранением всевозможных их национальных, бытовых черт и традиций. Он — Н. Н. Герард уверен, что, именно при таких условиях, Великий Князь Финляндии и Царь Польский были бы даже более обеспечены от всяких революционных эксцессов, нежели самодержавный Государь России.

Царь очень призадумался, ничего не возражал и, наконец, сказал: «благодарю Вас за полную откровенность. Надо подумать. То, что Вы мне сказали очень серьезно». В последующие свидания Государь уже не возвращался к той же теме, но продолжал быть крайне любезным с Герардом, давая понять, что относится к нему с большим уважением и доверием. Кончилось это, однако, довольно скоро неожиданной отставкой Н. Н. Герарда и назначением Финляндским генерал-губернатором вполне ничтожного Зейна, поведшего прежнюю, Бобриковскую, политику обрусения.

По поводу увольнения Герарда и оставления его не у дел, даже в качестве Члена Государственного Совета, помнится, Пассовер мне сказал: «Какое безумие, лишиться такого государственного ума, как Н.Н. Герард. Я уже после его отставки беседовал с ним, его пророчество относительно



грядущей судьбы России до жуткости ясно и безнадежно».

На ряду с этим деятельность революционных запевал в наших трех государственных думах находила себе вполне отрицательную оценку у того же Пассовера.

О Винавере он иначе не выражался как: о «хитроумном гомункулусе», считая вообще всю партию «кадетов» «головастиками», совершенно не знающими и непонимающими России и ее интересов. Накрахмаленный англоман В. Д. Набоков, с его холостым выстрелом: «власть исполнительная, да подчинится власти законодательной», снискавшая ему лавры героического либерализма, возбуждал в нем всегда ироническое замечание: «попал пальцем в небо»!

Сам «незабвенный председатель первой Думы», С. А. Муромцев с его требованием, чтобы придворная карета в Царском Селе подавалась ему первому «как представителю народа», в нашей беседе с Александром Яковлевичем не вызывал восторга.

Я заметил Пассоверу, (был отличный ходок): «Вы, Александр Яковлевич, наверно, пошли бы во дворец пешком», на что он ответил: «А Вы думаете, что это не было бы куда эффектнее, нежели настойчиво и дерзостно выпрашивать милостыню».

Вообще вся деятельность первой Думы, с ее естественным разгоном, и с ее противоестественным выборгским воззванием, доказала полное отсутствие наличности у ее членов малейшего политического такта и смысла.

Разве так овладевают властью и делаются органически необходимыми для страны и народа? Истинно талантливый артист и на шатких подмостках сумеет захватить толпу, только тогда он вправе оттолкнуть жалкие подмостки и требовать себе более подходящей арены. Но бесцельно кривляться, когда гонят с подмостков, бестактно и глупо. Таково было «выборгское воззвание».

Когда я уже после спросил Винавера, как он, «умный Винавер», затеял это воззвание, он ответил: «часовой обязан сделать и последний выстрел, раз он на посту»! «Как — возразил я — даже холостым зарядом?» Когда Муромцева спрашивали, зачем и он подписал это воззвание, не всегда глубокомысленный Сергей Андреевич на сей раз ответил чрезвычайно глубокомысленно: «Еже писах, писах»!

При налаженном уже конституционном режиме декоративный С. А. Муромцев выглядел бы отличным председателем-законником, но тут он был лишь жалким статистом, захваченным странствующей труппой, желавшей революционировать страну, исключительно ради его почтенной осанки, внушительного вида и голоса, и писал, и говорил все, что ему суфлировали.

Так «подписал» он и выборгское воззвание.

До чего натиск печатный и словесный сбивал в то время с толку людей, по-видимому, даже установившихся в своих политических (если только таковые у них были) взглядах, можно отчасти судить по следующему примеру.

Ф. Н. Плевако, прославленный московский оратор, попал во вторую Думу. Любитель русской (даже славянской) старины и церковности, казалось бы, имел же свои, хотя бы бытовые, если не устои, то вкусы.

Во время думской сессии он жил в Петербурге и бывал у меня. Однажды с очень озабоченным видом он ходил у меня по кабинету и о чем то раздумывал. Я его спросил, что его так заботит. Он признался, что

обдумывает форму ограничения царского титула. Известная думская партия желает внести предложение о видоизменении царского титула, чтобы подчеркнуть, что он уже не абсолютный русский царь Божей Милостью, а ограниченный монарх.

Я широко, вопросительно открыл на него глаза. Он показался мне и очень постаревшим и как бы уже утратившим всю свежесть своего, если не ума, то талантливости и чутья.

«Что Вы на меня так смотрите. Вот придумайте, как это надо урезать...»

«Я бы, наоборот, прибавил бы что-нибудь к прежнему титулу в ознаменование дарованной конституции — ответил я. И царю было бы лестно и цель была бы достигнута».

Но Ф. Н., уже достаточно навинченный, не хотел понять: «Тогда уцелеет самодержец». —

«И чудесно, на бумаге пусть себе уцелевает, архивная справка ничему мешать не должна, важно фактическое содержание в объеме власти. Чем меньше даете власти, тем пышнее, усерднее, возвеличивайте титул Монарха, а не поступайте наоборот. Титул Монарха любой страны должен быть квинтэссенцией его послужного списка, не только в настоящем, но и в прошлом... И отставного генерала Вы называете превосходительством, а ведь все его генеральство только в том, что он в казначейство за пенсией для моциона пешком ходит».

Ф. Н. задумался, но вскоре оживился: «пожалуй Вы правы.. . Дело не в титуле!»

Как вырешился вопрос об ограничении царского титула в думской партии не знаю, вернее, не помню, но недоставало бы только чтобы из-за этого была разогнана вторая Дума. Если так, туда ей и дорога.

Впрочем, когда я пишу эти строки, Россия изнывает от таких кровавых ужасов, что туда и дорога всему, вообще, что довело ее до этих тяжких дней.

Рано или поздно покаянным стоном разразится она и сгинет тогда все случайным вихрем нанесенное на нее извне. Кровавый революционный пир, заданный ей, в годину тяжкой войны, на деньги мутного источника, не скоро ею будет забыт.

## ГЛАВА ПЯТАЯ.

Принадлежа к очень большому по своей численности сословию петербургских присяжных поверенных, бывая нередко в Москве и в самых отдаленных местах России в качестве уголовного защитника (недаром покойный В. Д. Спасович в одной из своих застольных речей прозвал меня «Летающим Голландцем») я знал довольно близко состав, настроение и наличные силы российской адвокатуры и вправе отметить из ее рядов тех, чьи имена, так или иначе, фигурировали в качестве политических деятелей.

Свободное, самоуправляющееся сословие адвокатов при самодержавно-бюрократическом строе, конечно, являлось большою аномалиею и явным показателем недоделанности насущнейших мирных реформ царствования Александра II.

Когда хочешь управляться деспотически только физической силой, пренебрегая правом и моралью, вполне последовательно упразднить сословную организацию независимой адвокатуры. Царское Правительство не посмело сделать этого, как сделало советское

правительство, а с другой стороны не сумело идти в контакт с строгой законностью, только при наличии которой сословие адвокатов могло быть его союзником.

Именно на первых же порах, когда приток в адвокатуру талантливейших сил был особенно велик, правительство могло черпать из него надежнейших своих представителей. Но отношения установились как раз обратные: в адвокатуру из магистратуры устремлялось, как раз, все живое, честное, независимое. Такие имена как Жуковский, Андреевский, Александров (защитник Веры Засулич) и другие, ставшие украшением сословия, исчезли из списков прокуратуры, непомерно ослабив ее именно благодаря невозможному, с точки зрения законности, направлению деятельности таких министров юстиции, как Муравьев и Щегловитов.

Высшее судебное учреждение для всей России, Правительствующий Сенат, за последние годы по составу сенаторов, был не правительствующим, а лакействующим, вполне послушным директивам министров юстиции, хотя бы директивы эти нарушали явно закон... Особенно верно это относительно Уголовного Кассационного Департамента Сената, в котором вымерли такие честно-консервативные типы, как Репинский, бар. Тизенгаузен, Фененко и другие, и откуда были удалены в Общие Собрания такие талантливые и испытанные юристы либерального оттенка, как А. Ф. Кони, В. А. Случевский, Ф. А. Арнольд и др.

Гражданские процессы, если они не были выдающимися, ни по сумме, ни по положению участвующих, избегали министерского давления. Но в делах где, так или иначе, был ход к министру юстиции, адвокату противной стороны надо было смотреть в оба. Я лично, при Муравьеве, в двух-трех выдающихся гражданских процессах испытал это, и в свое время затратил всю свою энергию, чтобы парализовать закулисное давление едва не погубившее заведомо правые дела.

Что касается до уголовного правосудия то, вне суда присяжных, его решения были сплошь тенденциозны и рабски угодливы политике данного министра юстиции. Достоинно замечания, что тяжущиеся из аристократической, или из близкой правительству среды, пользующиеся услугами адвокатов, избегали иметь своими поверенными или юрисконсультами лучших представителей, присяженной адвокатуры. Они довольствовались услугами либо частных поверенных, либо присяжных поверенных таких судебных округов, где не имелось Советов присяжных поверенных и где не принятые Советами по нравственным основаниям лица, находили себе приют. Это характерное явление объяснялось именно тем, что такие поверенные не брезгали никакими закулисными ходами в Министерстве Юстиции, а в последнее время и у самого Распутина, во время, якобы, могущественного его влияния.

Безграмотные записки Распутина, то к тому то к другому, министру нередко имели иногда решающее влияние на исход дела. Нечего и говорить, что, достойные и уважающее себя и свое звание, присяжные поверенные, как от огня бежали от подобных дел и комбинаций.

Лично меня, имевшего значительную практику и по преимуществу уголовную, нередко умоляли «написать только два слова» Распутину относительно исходатайствования помилования то тому, то другому осужденному, уверяя, что именно моя «авторитетная» просьба, поддержанная им, будете иметь верный успех.

Я не согрешил ни разу. Чувство нравственной брезгливости каждый

раз заставляло меня на отрез, не входя ни в какие подробности, отказываться от подобных дел. Так же поступали все уважаемые мною товарищи по сословию.

Ни разу в жизни ж не встречался с Распутиным и не знал бы вовсе как он выглядел, если бы однажды весною его мне не указали едущего по «Островам», в придворной карете. Резко малеванный портрет «черного монаха» в спущенном окне кареты, как в раме, был мною запечатлен.

Было бы, к сожалению, неправдой утверждать, что все адвокатское сословие, как один человек, отдавалось чистому служению правосудия. В его среде было не мало отрицательных типов, посвятивших себя исключительно наживе и делецкой юркости; но все же была основа в лице «стариков» (anciens) чтимых сословием и державших, твердою рукою, в качестве Членов Совета, лучшие его традиции и чаяния. В общем это было сословие либеральное, не только в профессиональном значении этого слова, но и по своим политическим тенденциям. Иначе, разумеется, быть и не могло, так как самоуправляющаяся группа образованных общественных деятелей не могла же слиться с бездарным правительственным топтанием на одном месте, проявлявшим властную тенденцию только пятиться назад, а не идти твердыми шагами вперед к заветной цели, постепенно-стойкого, разумного строительства страны.

При наличности, в дореволюционной России сановно-чиновного (но не царского) абсолютизма, существование на ряду с этим свободного самоуправляющегося сословия адвокатов было резкою, почти трагическою аномалию. Явно противоположные общественные задачи не могли не ставить адвокатуру в противоречие с видами и чаяниями правительства, и вполне естественно, что вся публичная деятельность лучших адвокатских сил была у нас всегда деятельностью систематически оппозиционною. Это пытались обуздать и Муравьев и Щегловитов и такие их ставленники, как старший Председатель Петербургской Судебной Палаты Крашенинников или сенаторы: Бахтаров, Гредингер и т. д. Но эти попытки только раздражали общественное мнение и увеличивали значение и силу публичного адвокатского слова.

Истинно талантливые и умные адвокаты не злоупотребляя ими, лишь в миру действительной целесообразности, пользовались своим даром для утверждения закона, справедливости и здравых общественных понятий, но на ряду с этим в сословии нарождалась группа уже явных политических агитаторов, пользующихся при, всяком удобном и неудобном, случае адвокатской трибуной исключительно в видах революционных.

До 1904 года о явных политических выступлениях вообще не могло быть речи, и все сводилось к тому или иному направлению в деятельности судебной и общественной... К этой последней примыкали частные собрания, где занимались провидением горизонтов будущей политической карьеры того или другого кружка или партии.

В адвокатуре я всегда стоял особняком, т. е. не примыкал ни к партии, ни к кружку, но любил сословие, как таковое, с его задачами, которые всегда ставил высоко. Служение закону и морали я считал великою услугою для родины, именно у нас в России, где и то и другое покоилось еще на шатких, колеблющихся основаниях.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Внутри самого сословия, вначале, «политиканы» были наперечет, но в последнее время, начиная с несчастной японской войны, их число все увеличивалось и деятельность их приобретала характер настойчивой планомерности. Судебные политические процессы теперь уже служили трибунами для революционной пропаганды, нередко выходя за пределы объективного, хотя бы и в страстной форме, освещения надвигающейся на Россию грозы в виде насильственного государственного переворота.

Такие адвокаты, как Родичев, Керенский, Соколов, не отличаясь ни умом, ни талантливостью, ни широтой мировоззрения, были вполне подходящими стенобитными орудиями, ударявшими всегда в одну и ту же точку, по заранее выработанному революционному трафарету. И они добились своего; приобрели в конце концов последователей, союзников и подражателей, настолько, что к периоду 1904—1905 годов составляли уже весьма заметную и довольно властную в сословии группу.

До 1905 года большинство сословия если не враждебно, то во всяком случае без всякого энтузиазма оценивало и их личности и их стенобитное усердие, неизменно напряженное при каждом незначительном публичном их выступлении. Их ораторские таланты, в среде где блистали Спасович, Герард, Потехин, Александров, Пассовер, Жуковский, Андреевский и многие другие первоклассные судебные ораторы, ценились не очень высоко. Ни сколько-нибудь благоприятных внешних данных, ни эрудиции, ни широкой образованности, ни образности мысли и выражения в их распоряжении не имелось. Как адвокаты они были и навсегда остались посредственностью в отличие от московских представителей той же политической группы в лице Тесленко, Маленовича, Муравьева и некоторых других, гораздо более их талантливых.

Родичев в качестве судебного оратора был ниже всякой критики, он не захватывал аудитории, он не убеждал судей, а лишь немилосердно терзал уши слушателей своим неизменно однотонным «соло на барабане».

Керенский, как судебный оратор не выдавался ни на йоту: истерически-плаксивый тон, много запальчивости и при всем этом, крайнее однообразие и бедность эрудиции. Его адвокатская деятельность не позволяла нам провидеть в нем даже того «словесного» калифа на час, каким он явил себя России в революционные дни.

Что касается до Н. Д. Соколова (как утверждали, автора знаменитого приказа №1-ый, окончательно развратившего армию) то его, как оратора вообще и судебного в частности, с трудом можно было выносить. Докторально-самоуверенный, сухо-повелительный тон, не скрашенный проблеском талантливости, ни образностью речи, в конце концов, раздражал слушателей до полной нетерпимости.

Когда после революции фронт наш уже разваливался и солдаты не хотели больше воевать, Керенский послал именно его, как оратора убеждать солдат идти в атаку. Известно, что это кончилось жестоким избиением самого оратора Н. Д. Соколова. Помимо всего прочего, я уверен, что его ораторские приемы, тон, голос все могло быть косвенным поводом стремительной с ним расправы. Ему воистину был присущ дар раньше всего раздражать и вооружать против себя заранее несогласных с ним слушателей.

Из менее видных деятелей-адвокатов той же политической пачки

милейший П. Н. Переверзев, будущий злополучный министр юстиции, был куда симпатичнее в качестве судебного оратора. У него бывал и искренний пафос и задушевность речи. Не менее злополучный также будущий министр юстиции С. А. Зарудный был бы недурным оратором, если бы в голове его мысли и аргументы строились правильными рядами, а не в шахматном порядке. То, что он высказывал, являлось всегда прыжками вперемежку то черных, то белых и требовало усиленной сортировки для подведения итогов его речи.

Но сила всех этих ораторов, несомненно, все же в чем-то таилась, раз они овладевали, при том или ином случае, вниманием и даже энтузиазмом толпы на революционных митингах и собраниях.

Думается мне, однако, что сила эта таилась не столько в них самих, сколько в той наэлектризованной атмосфере, которая выдвинув их самих, не задумалась затем их же повергнуть в прах перед лицом более их энергичных и, несомненно, более талантливых Ленина и Троцкого и их лихих прислужников, у которых к тому же оказалась и, пришедшаяся так по вкусу русскому «бессмысленному бунту», распоясанная совесть.

Бедные пионеры русской революции, начиная с декабристов, кончая бабушкой Брешковской и террористами, двигавшими разрывными бомбами наш русский прогресс, вас перехитрили Стенька Разин и Пугачев так, как мы вернулись все к тому же российскому бунту, который Пушкин давно окрестил «жестоким и бессмысленным»!

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

В подготовке русской революции участвовали несомненно не одни революционные элементы, которым она снилась, как источник свободы, медовых рек и кисельных берегов и которые считали период войны единственно подходящим для ее успеха.

Кроме них едва ли не видели в революции спасения, с совершенно иной точки зрения, все реакционеры, германофилы и изнервничавшееся, интеллигентное еврейство, желавшее, наконец, стряхнуть с себя ярмо неравноправия.

Конечно, ни одна из этих трех групп не желала и не хотела революции в том виде, как она, в конце концов, разыгралась. Странники самодержавия, т. е. безответственной власти, вроде Штюмера, Щегловитова и всех их присных, ждали революции, как законного повода для прекращения войны, в надежде на подавление ее, одновременно с победой Германии, поражение которой, в их глазах, было бы поражением абсолютизма. В силу этого германофильство царило во всех ближайших к престолу сферах (не говорю уже о Распутине), и несчастному Николаю II, безвольному, но честному, приходилось барахтаться в этой удушливой атмосфере ежеминутно, ежесекундно. По свидетельству всех союзных послов и военных агентов, его одного нельзя было заподозрить в эти трудные моменты, в двойной игре; он до конца хотел остаться верным союзникам.

За одну эту черту его мученической лояльности, да простится ему многое и да воскреснет его образ чистым в людских сердцах.

На протяжении почти всей войны через Копенгаген и Швецию шныряли вражеские агенты в Россию и обратно. Они свили гнезда шпионажа и в Копенгагене и в Стокгольме.

В Копенгагене эти господа чуть не открыто торговали изменой

России в пользу врагов. Посольство наше здесь очень ответственное, как граничащее непосредственно с воюющей с нами Германией, было до жалости, или мало осведомлено, или слепо. Мимо его рук проскользнуло в Россию множество революционных посланцев в интересах Германии. В свое время еще в сентябре 1915 г. об этом доводилось до сведения кого следует, но еще в 1917 г., когда, я уже после революции, попал в Копенгаген, мне жаловались, что ничего не было в свое время сделано для обнаружения и пресечения свободного доступа множества подозрительных лиц в Россию. В российской бюрократии германофилами и поклонниками Вильгельма II можно было хоть пруд прудить, и никто не подумал, прежде всего, расчистить это гнилое болото.

С удалением Великого Князя Николая Николаевича от главнокомандования, все это смелее подняло голову и готово было лучше сосчитаться с русской революцией, нежели дожидаться поражения Вильгельма II и абсолютизма.

Время выбранное для революционного выступления было таково, что всякие подозрения возникают невольно. В самом начале войны еще в августе 1914 г., когда меня с моей семьей застигла война в Германии (в Гамбурге) в немецких газетах уже появлялись известия о революции в России.

Рисовали именно эту картину, которая наступила лишь в феврале 1917 г.: Финляндия объявила себя независимой, Кавказ передается туркам, всюду пожары, волнения и революционные эксцессы. Это писалось, как раз в то время, когда я, вернувшись после долгих мытарств в Россию, в конце сентября 1914 г., как раз убедился в противном: в России все обстояло благополучно, мобилизация прошла блистательно, войска дрались с полной энергией, царь, как никогда был популярен и мог показываться свободно на улицах Петрограда.

Раз, затем, совершилось именно то, чем с самого начала войны галлюцинировали противники, совершенно ясно, что они этого старательно желали, что это именно входило в их расчеты, как орудие поражения сильного врага на востоке, чтобы развязать себе руки на западе.

Но раз противники считали надежным шансом на победу именно революцию в России, ясно, что не только платонически лелеяли они мысль о ней, но планомерно действовали, дабы их заветная мечта осуществилась. По части организации всевозможных средств ослабления противника они всегда были великие мастера, не жалея для этого материальных средств, с моральными же запретами они не считались.

Для меня несомненно, что «великая русская революция» вытекла не из недр российских, а совершилась на вражеские авансы, не в русских интересах.

Безумец Протопопов воображал, что пока он «у власти» справиться с революцией будет детской игрой и обнадеживал вся и всех.

А Государственная Дума, тем временем, успешно революционизировалась Керенским, Чхеидзе и друг. апостолами светлого будущего России, а шептун Гучков шептал на всех перекрестках о близком наступлении «ultimo» для абсолютизма и даже сам Пуришкевич, переставь кричать в Думе петухом, замышлял уже нечто молниеносно-спасительное, вроде убийства Распутина.

Что касается до еврейской интеллигенции, то национальная задача еврейского равноправия, влекла их естественно туда, откуда это равноправие могло прийти немедленно. На это они готовы были широко

раскошелиться, раз сила денег нажитых в России давала им эту возможность.

Очень грустно, что это равноправие не было дано раньше: революция имела бы гораздо меньше шансов на успех и не разразилась бы вовсе во время войны.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Что касается до русского обывателя, то терпимость его к чужому засилью всегда была поразительна.

И патриотизм в лучшем значении этого слова, миновал нас; патриотизм, воспитывающий людские души и сердца, как воспитывает их и любовь к матери, во имя дальнейшей любви к человечеству.

Опьяненного Ноя, в свое время, только один из его трех сыновей именно средний, Хам выставил на позорище и посмеяние, мы же, в радикальном стремительном рвении, все поголовно превращались в хамов, ежеминутно, ежесекундно выставляя родину-мать на позорище и поругание. Это вполне доказала и последняя война.

Чтобы мы не изобретали для дискредитирования нашего последнего «тирана», не династически-личные интересы ввергли Россию в войну, которая, если бы она окончилась торжеством для России, неминуемо повлекла бы за собою, приобщение ее к лику свободных наций вполне мирным путем.

Если бы у «тирана» были помыслы только о себе и о своем троне, он стал бы естественным союзником Вильгельма. Пусть немецкое засилье задушило бы Россию, он все же царствовал бы и лично пользовался всеми благами фиктивного самодержца. А, что Германия в союзе с Россией задушила бы в первые же месяцы Францию, пока еще ни Англия, ни Италия не могли придти ей на помощь, это более чем ясно. И война была бы кончена. Участие России в войне не было актом династических замыслов, а была делом России и во имя блага России же. Казалось бы, что поэтому война эта не могла не быть глубоко популярна именно для интеллигентной России.

Но, только на первых порах, эта популярность всколыхнула и не столько нашу интеллигенцию, сколько массу, живущую не рассуждениями, а чутьем и инстинктом.

Династия бросила в бой в первую, же голову единственный надежный свой оплот — гвардию, которая, своим наступлением в Восточной Пруссии, спасла Париж и с ним и Францию, но навсегда была утрачена, как защита трона и самодержавия. Казалось бы, при таких условиях, при самомалейшем искреннем патриотическом чутье можно было все претерпеть до конца войны, тем более что худо ли, хорошо, она клонилась к победе, несмотря на все наши недочеты, несмотря на наши отступления, после блестящих наступлений.

Мнение всех союзных военных авторитетов теперь единогласно, что только русская революция затянула войну и что она была бы победоносно кончена уже к лету 1917 г.

Германия это учитывала вполне и ей, а вовсе не России, нужна была именно в эту минуту «великая русская революция», с ее приказом №1-ый, с ее разложением войска и братанием на фронте.

Призыв в войска, за недостатком кадровых офицеров, «прапорщиков» и, вообще, пополнение армии призванными и запасными, к концу войны, сыграло фатальную роль. Вся эта масса была материалом, весьма



пригодным для всякой пропаганды, клонящей к скорейшей ликвидации войны, хотя бы ценою поражения. «Пораженцы», с которыми неумело и бессистемно пыталось справиться правительство, были не мифом, как это представлялось либеральной печати, а весьма глубоким и острым явлением, которое, как ползучая саркома, то здесь, то там, давала о себе знать в тылу.

Только на первых порах интеллигентная молодежь, как бы искренно ринулась на фронт, щеголяя своей походной формой и выпавшею на ее долю героической, миссией. Но очень скоро и это увлечение остыло, особенно когда победы стали редки, а траншейная страда стала жутко-непроглядной.

Все, что имело связи, знакомства, протекцию, скоро начало прятаться по штабам, в Красном Кресте и по различным тыловым организациям.

В это время, как во Франции, в Англии и Италии сыновья и родственники самых выдающихся, входящих в состав правительства лиц, шли в передовые линии и умирали на «почетном поле брани», как с гордостью возвещалось об этом на страницах газет, наши охотно прятались по канцеляриям и наводняли рестораны Петрограда своим якобы походно-боевым обликом.

И в адвокатской среде — увы! — я лично знал таких молодцов, которые временно валялись «на испытании» по больницам и в Николаевском госпитале и получали, в конце концов, отсрочки и отпуска.

Гласно-публичный скандальный пример такого уклонения от своего долга повелся у нас еще с Японской войны, когда знаменитый сладкопевец-тенор Собинов, облачившись в больничный колпак и халат, прикидывался некоторое время не то сумасшедшим, не то нервно расстроенным, чтобы избежать отправления на фронт. В последнюю войну, нося офицерскую форму, в которой его рекламно воспроизводили в иллюстрированных журналах, как «призванного» жертвовать жизнью «за царя и отечество», тот же сладкопевец преспокойно, распевал в театрах и умирал в роли Ленского почти также реально, как умирали в это время на поле брани.

Но наши артисты вообще вне конкурса, Бог с ними! Им не в пример французы и итальянцы, среди которых артисты и писатели самого первого сорта (Д. Аннунцио) не брезгали любовью к родине и не унижались до надевания сумасшедших колпаков, чтобы уклониться от призыва.

Кстати об наших артистах. И даже «солистах Его Величества».

Без омерзения и чувства гадливости трудно говорить об этом. Но отметить необходимо, чтобы заклеить неизгладимым позором аморальное разложение первобытной русской, хотя бы и талантливой, души, предоставленной самой себе и своим эгоистическим интересам. Пример: Шаляпин, высота талантливости которого до поразительности пропорциональна низменности его нравственного чувства.

Давно ли он на открытой сцене кинулся перед царем на колени, когда хор пел «Боже Царя Храни». Он же первый «сочинил» жалкий революционный гимн. Он же, как никто, прислужился большевикам и стал со сцены прославлять их кровавое владычество. И публика валила в театр и тогда и теперь и не забросала его гнилыми яблоками, чтобы заклеить эту нравственно-гнилую душу, в образе хотя бы и очень талантливого артиста.

В любой гражданско-культурной и морально дисциплинированной стране подобные общественные явления не могли бы пройти незамеченными.

О прочих «солистах» и у царя «заслуженных» не стоит и говорить. Чего можно требовать от «артистических» перекидных душ, когда и среди военных, возвеличенных придворными званиями, и чинами и окладами, не нашлось у него ни заступников, ни верных долгу и присяге. Великий Князь Николай Николаевич, очевидно вражескими же интригами, был уже «убран». Оставайся он Главнокомандующим не так-то легко было бы развратить фронт. Его душе несомненно присущи черты рыцарства. В злополучном своем дневнике Николай II, после вынужденного у него отречения, обмолвился великой истиной, которую не прозревал ранее в своей душевной слепоте: «кругом обман, ложь и измена»!

Пусть Гучков, Шульгин и прочие мелочно-близорукие политиканы смаковали свое торжество в эту минуту, но я бы желал знать, как себя чувствовали вояки-генералы: Рузский, Алексеев и *tutti quanti*, которые, прямо или косвенно, приложили к этому свои руки?

Вдова казненного Великого Князя Иоанна Константиновича, Елена Петровна, будучи, в феврале 1919 г., проездом в Копенгагене, передавала мне, что когда она содержалась в тюрьме в г. Екатеринбурге, ее навещал доктор Деревенькин, лечивший наследника, и потому имевший доступ к Николаю II-му, который, с семьей, был также в Екатеринбурге, во власти большевиков. Между прочим, он сообщил ей отзыв последнего относительно генерала Рузского, сыгравшего решительную роль при его отречении. Пленный царь, томившейся в тяжкой неволе, сказал Деревенькину: «Бог не оставляет меня, Он дает мне силы простить всех моих врагов и мучителей, но я не могу победить себя еще в одном: генерал-адъютанта Рузского я простить не могу»!

Одно революционное дуновение, а даже не сама революция, заставила уже всех гнуться в желаемом направлении. Какой-то заколдованный круг насыщенный одними рабскими душами!

О, как прав был, бессмертный Чехов, не поддавшийся близорукой шаблонно-радикальной литературной толчее своего времени, аттестуя русскую интеллигенцию, как бессильно-жалкую обывательщину с тряпичной душой.

Большевизм полезен разве тем, что потряхнул всю эту залежалую тряпицу, ущемив ее своими цепкими клещами. Быть может теперешняя страда послужит уроком и для нашей интеллигенции и выкует ей на смену не жалких фразеров, а людей стойкой морали и твердой воли, достойных России.

В трагические минуты жизни родины много ли оказалось таких, которых не застал бы врасплох и не смутил бы, обращенный к ним прямо вопрос: «скажи, наконец, во что ты веровал и веруешь»?

Только несколько закаленных ссылкой и каторгой осталось кое-чему верны и до конца преданы, главным образом, собственному своему безумию.

Напряженная страстность этого безумия оказалась заразительной и повальность заразы получилась именно благодаря низкой степени морального и умственного уровня нации и, впереди всех, ее интеллигенции.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Почти за год до февральской революции уже явно и настойчиво стало проявляться агитационно-революционное настроение.

По примеру 1905—1906 гг., готовились шаблоны «революций», «запросов» и «требований», обращенных к правительству

В сословии присяжных поверенных это сказывалось пока только в подборе состава Совета Присяжных Поверенных, которого в то время я состоял уже председателем. В нем по-прежнему были еще надежные «столпы» корпорации, в лице М. В. Каплана, В. В. Благовещенского, П. Н. Раевского и еще немногих, преданных традициям и интересам сословия, но были и Переверзев, и Демьянов и бестолково-радикальствующий Плансон; в последний год попали в Совет М. В. Винавер и пресловутый Н. Д. Соколов. Кандидатура Керенского как-то не выдвигалась. Считалось, что он всецело поглощен Думскою деятельностью и выступлениями в политических процессах.

На общих собраниях петроградских присяжных поверенных группа «коллег», пытавшихся, при всяком удобном, а чаще неудобном случае, революционировать сословие, была уже ясно обозначена. Состав ее, сложившийся еще в 1905—1906 гг., после тогдашних неудачных забастовок и «снятия судей», не был еще очень велик, но отличался дисциплинированной компактностью.

Пришлось убедиться например, что кружок этот стал сторониться от своего прежнего чуть ли не кумира, умного и деятельного М. В. Беренштама, много лет избиравшегося товарищем Председателя Совета, и вынесшего на своих плечах всю советскую работу за время номинального председательствования в Совете престарелого Д. В. Стасова, только потому, что его, как «умного оппортуниста» ценил и, как говорили, даже «полюбил» Прокурор Судебной Палаты Крашенинников, которого называли «садистом адвокатских вольностей». В последний год эти господа порешили даже «забаллотировать» М. В. Беренштама. Последний, однако, не доставил им этого торжества: как «призванный прапорщик», он сам уклонился от кандидатуры не только в Товарищи Председателя, но и в члены Совета.

Каким чудом я сам, всегда уклонявшийся от политических выступлений, попал в Председатели Совета и до конца уцелел в качестве такового при новых выборах, для меня остается, отчасти, загадкой. Могу лишь проследить, с этой точки зрения, перипетии моей адвокатской карьеры, чтобы дать самому себе отчет насколько правильно было понимание мною общественного значения роли адвоката, призвание которого, быть может преувеличенно, я всегда ставил очень высоко, выше политики.

Сперва инстинктивно, а потом уже вполне сознательно, я считал неприемлемым для адвоката замкнутость партийности и принесения в жертву какой-либо политической программе интересов общечеловеческой морали и справедливости. Поэтому, я туго, или вернее, совсем не подавался в какой либо политический кружок, или партию, ставившие себе целью лишь достижение партийного задания.

Будучи еще совсем молодым, в качестве помощника присяжного поверенного я подвергся в этом отношении большому искушению, но отделался от него благополучно, не столько в силу «уморассуждений» сколько инстинктивно, по одному нравственному чутью.

В конце 1879 г. в Особом Присутствии Правительствующего Сената слушался первый большой политический процесс о 193-х привлеченных. Со всех концов России были собраны «революционеры-пропагандисты», по мнению обвинителей, весьма опасные государственные преступники. Создание этого процесса-монстра было фатальным для самодержавия и чреватым многими гибельными для России последствиями.

Предварительное следствие по этому делу вовлекло в свои сети добрую половину тогдашней русской интеллигентной молодежи, обнаружившей стремление сблизиться с народом и подойти к нему вплотную. Тысячи лиц были заподозрены, арестованы и протомились годы и годы в тюрьмах и острогах. В конце концов, предать суду представилась возможность лишь незначительный процент арестованных сравнительно с числом задержанных жандармским дознанием и предварительным следствием. В числе преданных суду разве десятков, другой были воистину повинны в покушении на Государственную неприкосновенность, все остальные вращались лишь в сфере довольно туманных идей «служения народу».

Достаточным показателем искусственности создания этого процесса-монстра, вызвавшего впоследствии яркую и напряженную деятельность наших террористов, может служить хотя бы такой пример.

Меня выбрали своим защитником три лица женского пола, протомившиеся многие годы в предварительном заключении: Екатерина Брешковская (впоследствии «бабушка русской революции»), Вера Рогачева (сестра, драматурга Евтихия Карпова) и некая девица Андреева.

Первая, переодевшись крестьянкою, бродила по селам Киевской губернии и «просвещала народ», пропагандируя, пока впрочем, довольно осторожно и туманно, нечто революционное. Было ей тогда лет под тридцать. Женщина, она была «идейная», но с темпераментом, пока еще, влекшим ее «на авось». Только тюрьма закалила ее.

Зато две другие, ни с какой стороны, в революционерки не годились, и только долгая тюрьма приобщила их якобы к революционному толку.

Рогачева, урожденная Карпова, была арестована и привлечена исключительно в качестве жены бывшего артиллерийского офицера Рогачева, пожелавшего сознательно «идти в народ».

Девица же Андреева была уличена в том, что в Харькове организовала какой-то кружок гимназистов средних классов, которым читала и толковала по-своему сказки «Кота Мурлыки». Андреева была крайне ограничена и ее товарки по заключению стыдились ее роли в процессе в качестве «участницы сообщества».

Помню, Брешковская перед моею речью, в ее защиту все твердила мне: «Вы должны глухою стеною отделить меня от этих младенцев».

Рогачева, Андреева и еще очень многие, из числа привлеченных к суду, были оправданы; в том числе Перовская, будущая убийца Александра II-го.

И все эти, в то время действительно ни в чем неповинные, только в самом процессе получили свое революционное крещение и, благодаря завязавшимся по тюрьмам и этапам связям к влияниям и последующим административным мытарствам, в качестве «подозрительных», уже сознательно примкнули к революционной активной работе, под руководством более авторитетных товарищей.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

В числе подсудимых процесса 193-х было лишь несколько выдающихся личностей.

Во главе их наиболее энергичный и талантливый — Мышкин. Своими речами на суде он «зажигал сердца» молодежи, выступая убежденным, до фанатизма, революционером-пропагандистом. Я сам ночи не спал после его страстных выступлений. Порою слова его казались мне непреложным откровением. Ярко помню кульминационный момент процесса, когда Мышкин истерично высказал свое знаменитое революционное «Credo».

Оно потрясло и захватило всю аудиторию.

Когда, под конец, судей своих он обозвал «опричниками царя», жандармский офицер, стоявший подле него, бросился зажимать ему рот, причем произошла борьба и лицо Мышкина было оцарапано. Все подсудимые протестующе завопили, как один человек, а я, потеряв голову, угрожающе бросился на жандармского офицера с графином в руках. Произошло общее смятение. Еще минута и чего доброго началась бы общая свалка. Первоприсутствующий Сенатор Петерс быстро прервал заседание и Мышкина увели нахлынувшие в судебную залу жандармы. Сенаторы быстро скрылись в совещательную комнату. Проповедь Мышкина, при подобной обстановке, я убежден, запала глубоко не в одну молодую душу.

Защитники, в числе которых были все лучшие силы тогдашней адвокатуры (Спасович, Герард, Языков, Турчанинов, Потехин, Утин, Бардовский, Дорн, Александров (впоследствии знаменитый защитник Веры Засулич), профессор уголовного права Таганцев и друг., кинулись в судейскую комнату, протестуя против самовольного физического насилия, допущенного жандармским офицером. Последствием инцидента был перерыв заседания на несколько дней. Первоприсутствующий Сенатор Петерс «заболел» и его место занял один из присутствующих Сенаторов — Рененкампф.

Процесс закончился большим процентом оправданий, но Мышкин, Рогачев и еще несколько таких же, как они «сознательных», получили долгосрочную каторгу. Брешковская была приговорена к шести годам каторжных работ.

Процесс 193-х характерен в двух отношениях. Повышенным сыскным рвением к нему приобщили много учащейся, совершенно зеленой молодежи, которая без этого мирно бы вошла в житейскую колею, забыв о своих былых молодых увлечениях. Это во-первых, а во-вторых, даже к «сознательным» в то время было предъявлено обвинение лишь в том, что они «в более или менее отдаленном будущем» имеют в виду изменение государственного строя. В недрах же самого процесса, в среде его участников зародилось нечто иное, более интенсивное, когда осужденные и их товарищи убедились, что и простая пропаганда карается уже, как совершившееся тяжкое преступление.

В это же время разразилась в доме Предварительного Заключение Треповская расправа с Боголюбовым. Боголюбов, ранее уже осужденный в качестве политического к каторге, находился еще в Доме Предварительного Заключение. Когда, генерал Трепов, тогдашний градоначальник Петербурга, посетил Дом Предварительного Заключение ему попался на глаза где-то в коридоре Боголюбов, который не снял перед ним своей арестантской бескозырки. Этого было достаточно, чтобы

со стороны «бешенного» градоправителя последовало тут же распоряжение о телесной экзекуции над каторжанином, хотя бы из интеллигентов. Это взволновало всю тюрьму. Заключенные стали бить стекла в окнах своих камер, кричать, вопить. Жестокая экзекуция, тем не менее, свершилась и весть о ней быстро разнеслась по всему городу. Без возмущения никто об этом не говорил.

Когда приговор о 193-х уже состоялся, но оставался еще кассационный срок, я продолжал посещать заключенную Брешковскую. Тогда она открылась мне, что Вера Засулич стреляла в Трепова не по собственной инициативе, как все ошибочно думали тогда, но что это был первый террористический акт «боевой дружины», решившей теперь же, путем террористических актов, бороться с произволом и насилием власти.

Как известно, Вера Засулич была предана суду за простое покушение на убийство и была судима с присяжными заседателями. Тщетно пытался А. Ф. Кони, председательствовавший в этом процессе, своими вкрадчивыми приемами вырвать у присяжных хотя бы слабый обвинительный приговор. После потрясающей по силе и выразительности, речи защитника Засулич, П. Я. Александрова, она была торжественно оправдана, при бешеных рукоплесканиях переполненной залы. Многие плакали от радости, дамы целовали руки Александрову, которого я провожал среди судейской сутолоки и на улице, где овации по его адресу возобновились с новой силой.

Брешковская очень издалека и в несколько приемов, заводила со мной речь о том как было бы хорошо, если бы я, оставаясь адвокатом, примкнул к их «конспиративной» работе. Она готова была дать мне все адреса и рекомендации к организаторам «боевой дружины». В ее расчеты не входило мое непосредственное участие в террористических актах: — она сулила мне более почетную миссию — вдохновлять жеребьевых исполнителей таких актов.

Нужно ли объяснять, как я шарахнулся от подобного предложения. Я высказал ей с полной откровенностью свои сокровенные суждения по этому предмету: «Не кровью и насилием возродится мир. Низменное средство пятнает самую высокую цель. Для меня «террорист» и «палач» одинаково отвратительны!»

Брешковская глубоко задумалась. Нисколько минут мы оба взволнованно молчали. Наконец она протянула мне свою холодную руку и крепко сжала мою.

— Бог с вами, оставайтесь праведником, предоставьте грешникам спасать мир. Я иду в каторгу, а вы на волю к радостям жизни... Спасибо вам за все. За этот месяц, что мы виделись, я много думала о вас . . . и вот заговорила. Забудьте все, что я вам сказала, навсегда... Возьмите вот это от меня на память. Сама здесь вышила...

Она достала из под подушки своей тюремной койки вышитое по обоим концам мелкою малороссийскою вышивкою полотенце, по краям которого, едва заметно, были вышиты слова: «memento mori».

Мы потрясли другу руки и расстались. Когда я в последний раз захлопнул за собою тюремную, дверь, мне почудилось, что я оставил живую в могиле, быть, может, про меня она наоборот подумала: «ушел живой мертвец». Какая пропасть между двумя, рядом стоящими, людьми: то что для нее единственно казалось жизнью, мне представлялось подлинною смертью.

Ряд террористических актов вскоре последовал. Несчастный «Освободитель» под конец не выезжал иначе из Зимнего Дворца, как с сильным охранным эскортом. Это сторожил Кобызевский (Богданович) подкоп на Екатерининской улице, но доконали его, раньше чем тот был готов, бомбы Желябова, Рысакова, Перовской и Ко. на Мойке.

«Весна» гр. Лорис-Меликова заволоклась непроглядными тучами и мелькнувший призрак спасительной «конституции» укрылся за мрачными стенами Гатчинского Дворца.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Тотчас после убийства Царя-Освободителя, некоторое время длилось напряженное состояние общества в ожидании широких свобод и, как панацеи от всех зол, — конституции. Сентиментальные интеллигенты, с мистиком-философом Владимиром Соловьевым во главе (он был подлинным христианином и, говорят, реально верил в наличность дьявола) пропагандировала идею всепрощения и находила, что убийцы Царя не должны быть казнены. Это было бы наглядным жестом выявления величия именно великой русской народной души.

Я лично был всегда горячим противником смертной казни, находя, что государство, власть, как нечто сильное и мощное, не вправе отвечать на безумие отдельных лиц, таким же безумием. Государство вправе лишь изолировать преступника, чтобы обезвредить его, и наглядно доказать силу беспримерного своего великодушия.

Правительственный курс скоро обозначился: «сын не вправе миловать убийц своего отца!» Влияние Победоносцева и соответствующих мужей Царского Совета решило это безапелляционно.

Обвинителем цареубийц выступил тогдашний прокурор Петербургской Судебной Палаты Н. В. Муравьев. Он стяжал себе этим «благодарность» Царя, за что и был вскоре назначен Министром Юстиции.

Всех пятерых убийц Александра II казнили. Казнили еще публично на Семеновском плацу, где был воздвигнут эшафот с пятью виселицами.

Знаменитая артистка М. Г. Савина, жившая в то время в конце Николаевской улицы, видела со своего балкона весь печальный кортеж. Она утверждала, что кроме одного, из приговоренных Рысакова, лица остальных, влекомых на казнь, были светлее и радостнее лиц их окружавших. Софья Перовская своим кругловатым, детским в веснушках лицом зарделась и просто сияла на темном фоне мрачной процессии.

Покатилось грузно-однотонное царствование Александра III-го Миротворца, укрывшегося в своем Гатчинском Дворце, как в неприступной крепости.

Союз с республиканской Францией, как-то дико уживался с российским абсолютизмом, остановившимся на мертвой точке.

В подходящих случаях звуки Марсельезы стали раздаваться публично и, невольно, комментировались текстом революционного гимна. Говорят, на это обращали внимание Александра III-го, на что он будто бы философски отвечал: «Не могу же я им сочинить новый национальный гимн!» Про себя он, вероятно, думал: хоть с чертом в союзе, а должен же я обороняться от Германии!

А «черт» был, к тому же, галантен и льстив, и хоть кому мог вскружить голову. Париж такой прием устроил «русскому Царю», что

хоть бы самому Вильсону в свое время впору. Одним великолепием названного его именем моста, построенного по случаю блестящей всемирной выставки в Париже, Франция считала, что на веки вечные обессмертила Александра III.

«А там, во глубине России» — колесо истории катилось своим грузным чередом.

После ухода, провожаемого нелестным эпитетом, Вышнеградского, Министром Финансов сделан был Витте «муж государственный» (особенно по Дилону); он и золотую валюту урегулировал (золотые круглячки действительно зазвенели в кошельках) и, что еще важнее, порешил восстановить «царев кабак», т. е. спаивать народ во славу государственной казны. Говорят, что он самодовольно потирал себе руки, даже в момент Выборгского воззвания, которым разогнанные перводумцы призывали народ не платить казне податей и, посмеиваясь, говорил: «Ладно, ладно, а пить народ все-таки не перестанет и пуще прежнего понесет деньги в кабак, раз и податей платить не надо»!

Черту государственной мудрости нового министра иные усматривали и в его тяготении к Германии, несмотря на русско-французский официальный союз. Ему Россия обязана разорительным для нее торговым договором с Германией 1904 года.

Никогда еще германские капиталы не находили себе в России такого уютного и прибыльного помещения, как во времена Витте. С финансовым Гогой и Магогой Берлина, Мендельсоном, он был в интимно-дружеских отношениях. Сам Вильгельм, говорят, высоко ценил Витте, осыпал его знаками внимания, и принимал у себя не в пример прочих русских сановников.

По своему Витте был, пожалуй, прав, подозрительно косясь на противоестественный франко-русский союз. При тупом упорствовании в сохранении российского государственного строя, союз этот, как доказали последствия, был фатальным для царского режима, а для России чреват попутно бедствиями.

Франция извлекла из него все, в том числе и «блестящую победу», которую шумно, может быть даже слишком шумно, на первых порах отпраздновала. Россия же лежит распластанная, окровавленная, исхлестанная вдоль и поперек войной, революцией и ударами безудержного садизма.

Господа союзники наши решили, что они уже свое дело сделали: победили Германию. В действительности же они едва только свели свои давние счеты с Вильгельмом, и не рано ли им упиваться победными кликами, мечтая о союзе народов. Пока тлетворный яд, привитый России тем же Вильгельмом, как гнусное боевое средство для достижения своих видов, не парализован, а лишь изолирован, казалось бы им рано ликовать. Пусть пропадет Россия — им нет больше дела до нее! Но в награду ликующему эгоизму победителей как бы не случилось того же, что было при изгнании мавров из Испании.

Побежденные сумели оставить своим победителям в наследие чуму и проказу.

Историческая логика едва поддается предвидению, но она непреложна.



## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Муравьев в качестве Министра Юстиции и Вановский в качестве Военного Министра в царствование Александра III были помельче Витте и совсем слепо и шаблонно поддерживали самодержавие.

Первый, развращая суд и судей, делая последних слепым орудием своих велений, второй насыщая войсковые части шпионами, провокаторами и доносчиками, дабы уловить самомалейший признак неблагонадежности в офицерской среде.

Это министерское рвение в обоих случаях приводило к одному и тому же:

Из судейской коллегии бежало в адвокатуру и в частную службу все, сколько-нибудь энергичное, талантливое и честное, на первые же места выдвигались бездарные карьеристы, заранее на все готовые. Из армии же и гвардии уходили в отставку лучшие элементы, не желая быть в подчинении у бурбонов-сыщиков новейшего типа. «Les prochvostis» (прохвосты) решительно на всех государственных ступенях брали верх, и Гатчинский отшельник (отличный семьянин, но скверный музыкант даже на корнет-а-пистоне, на котором любил упражняться) считал свой трон на плечах вполне надежных кариатид.

Жаль, что он умер слишком рано, не прозрев какое жестокое наследие он оставляет своему, осененному теперь ореолом мученичества, несчастному сыну Николаю, воспитанному им в рабском преклонении пред его «мудрыми» царственными заветами.

Если бы Брежневская в свое время не посвятила меня в тайну организации террористических актов, революционные мои, если не тенденции, то симпатии, по всей вероятности, были бы гораздо сильнее. Но когда я мысленно сопоставлял Гатчинскую процедуру репрессии с одной стороны, и работу тайного революционного трибунала с другой, толкавшего зеленую юность на кровавые дела, я не мог стать ни на одну сторону, — и то и другое мне одинаково претило. В этом заключался трагизм моего самочувствия.

Мои личные успехи в жизни и в адвокатуре, как гашиш подчас туманили мне голову и я старался не думать, т. е. не задумываться слишком над тем, чему не мог помочь.

Весь в работе и в увлечениях, я не был чужд однако часов глубоко-пессимистического раздумья, идея о самоубийстве не была мне чужда, об этом можно отчасти судить по моему роману «Господин Ареков», который как-то вырвался душевным воплем в кульминационный период личного жизненного благополучия.

Одно себе поставил я задачей и никогда этому не изменил: раз судьба сделала из меня юриста и адвоката и притом по преимуществу уголовного защитника, — никогда не отступать пред трудностью выпадающей задачи и помнить только одно, что у меня за спиной живой человек. Я забывал о себе и о своих личных интересах и перевоплощался в союзника клиента, чаще всего обвиняемого. Я переживал с ним его муки и думы и сомнения и, от того, быть может, моя речь доходила до человеческой души. Иногда, будь то душа самого закоренелого судьи-фанатика.

Не мне характеризовать мои адвокатские успехи, мне важно лишь отметить, что благодаря им на мою долю выпадали обыкновенно самые трудные, острые, волновавшие и общество и власти процессы. Меня ненавидел Муравьев, а за ним и вся прокуратура и если бы я допустил

малейший адвокатский промах, со мною рады были бы сосчитаться беспощадно.

Тогдашний директор Департамента Полиции, впоследствии всесильный Министр Внутренних Дел В. Н. Плеве, знавший меня еще будучи прокурором Петербургской Судебной Палаты, караулил меня в оба, что при случае и доказал впоследствии, когда собрался было меня «далеко» выслать из Петербурга, после участия моего в Кишиневском процессе о еврейском погроме, в качестве поверенного потерпевших евреев.

Это было уже в царствование Николая II-го, когда Плеве был премьером, а директором Департамента Полиции был назначен, быстро сделавший карьеру, Лопухин, в котором провидели будущего преемника самого Плеве.

Когда после мотивированного оставления адвокатами гражданских истцов процесса в Кишиневе, в виду отказа Судебной Палаты направить дело к следованию, я возвратился в Петербург, меня посетили многие представители еврейского общества, в том числе Винавер, Слиозберг и друг. Они торжественно выразили мне благодарность за речь, произнесенную мною в заседании Судебной Палаты в Кишиневе, речь, в которой я откровенно мотивировал наш уход.

Еврейский Кишиневский погром был, вне всякого сомнения, создан местными темными провокационными силами, с ведома и благословения самого Плеве. Это входило в его политическую программу. Все поведение полиции и местных властей ярко об этом свидетельствовало.

Посетил меня также от имени редакции журнала «Русское Богатство» и В. Г. Короленко с которым с процесса Мультинских вотяков, мы были большими приятелями. Он был высокого мнения о моих заслугах в этом процессе, который он принял близко к сердцу и в котором, рядом со мною, был в числе защитников. Короленко предложил мне прочесть доклад о Кишиневском процессе в обширной зале, любезно предложенной бароном Горацием Гинзбургом в своем роскошном особняке. Вход на этот предполагаемый вечер должен был быть не публичным, а исключительно по рекомендации.

Я дал свое согласие.

Вечер для доклада был назначен в конце недели, но уже во вторник из градоначальства мне позвонили по телефону с предложением явиться к градоначальнику для объяснений по поводу предстоящего собрания у барона Гинзбурга. Я ответил, что не вижу надобности явиться к градоначальнику, так как организация собрания мне не поручена, доклад же я сделаю, если собрание состоится. Ответ мой, очевидно, не удовлетворил градоначальника, так как вслед за тем, ко мне явился от него чиновник и предложил дать подписку о том, что доклад мой не состоится...

Меня возмутило такое предложение. Я ответил, что никакой подписки никому давать не буду и прошу оставить меня в покое, так как занят текущими ответственными делами и не имею времени для переговоров явно беспредметных.

Вскоре после этого визита из Градоначальства, заговорил со мной по телефону уже Департамент Полиции. От имени директора Департамента Лопухина я приглашался, «побывать» у него «завтра в среду». Я ответил, что завтра, в среду, занят защитой в Сенате, но что в четверг около 3-х часов свободен и могу «побывать».

Лопухину я незадолго перед тем, был представлен в Москве, где он в

то время был прокурором Судебной Палаты, и должен был быть моим противником, в качестве обвинителя в одном уголовном процессе. Но он был назначен директором Департамента Полиции и мне не пришлось «встретиться» с ним на судебном поле брани.

В качестве будущего судебного противника он был тогда чрезвычайно предупредителен, любезен. и осыпал меня слащавыми комплиментами.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

В четверг ровно в 5 минут четвертого я был в Департаменте Полиции на Фонтанке. Был принят тотчас же, несмотря на значительное число посетителей, ожидавших очереди в приемной.

Когда я вошел в обширный кабинет директора Департамента Полиции, где, кроме самого Лопухина, никого не было, он быстро отодвинулся от письменного стола, за которым сидел в то время и легкою поступью пошел ко мне на встречу, приветливо протягивая руку.

Он показался мне несколько взволнованным, лицо его было красно и что-то стыдливо-заискивающее, бегало в его глазах. Я сообразил, что бывший судебный деятель и юрист чувствует себя, вероятно, не совсем удобно перед таким же, как он, юристом в роли исполнителя щекотливых административных мероприятий.

Я был любезно усажен в кресло у письменного стола, а сам он сел на прежнее место за тот же стол.

Colloquium наш начался.

— Мне поручено, — начал он, — просить Вас отказаться от предположенного доклада о Кишиневском процессе.

— Я обещал, и не вижу основания брать назад своего обещания.

— Основание имеется... Публичный доклад о процессе, проходившем при закрытых дверях, не совпадает с видами правительства.

— Но о публичности нет речи. Предполагаемое собрание в частном доме, где доклад будет услышан только поименно приглашенными хозяином. Это не отвечает понятию о публичности.

— А Вы не знаете, что приглашения будут платные и по исключительно высокой цене?

— Нет, этого я не знаю, но это меня не касается...

— Может быть Вы не знаете и того, что сбор этот пойдет на «их Красный Крест», для раздачи пособий административно высланным, т. е. революционерам?

Я широко открыл глаза.

— Этого я не знал. Но теперь, когда узнал, что это вечер благотворительный, тем более не могу изменить своему обещанию. Отбывающий кару уже не преступник. Вы, как юрист, конечно, согласитесь со мною, что помогать сосланному, оторванному от своих занятий и дома, человеку, доброе дело, а не преступление. К тому же революционеров у нас судят по «Уложению о Наказаниях», судят судом, кого же высылают административно я не знаю ...

Лопухин совсем побагровел и весь последующий его тон был уже, раздраженно и властно, повышенный.

— А так!.. Вот, что поручил мне передать Вам Вячеслав Николаевич...

— Кто это Вячеслав Николаевич ? .. Лопухин откинул голову назад и уставился на меня круглыми глазами.

— Вы не знаете ?! . . . Это Министр Внутренних Дел, статс-секретарь Плеве, его зовут Вячеслав Николаевич...

Я качнул головой в знак того, что любопытство мое удовлетворено.

По мере того, как явно озлоблялся и раздражался Лопухин, во мне начинало расти непреклонное упорство, обычно мне несвойственное.

После секунды молчания, Лопухин встал со своего места и, уже стоя, продолжал говорить со мною, нервно постукивая, от времени до времени, по столу карандашом, бывшим у него в руке.

— Статс-Секретарь Вяч. Ник. Плеве приказал мне объявить Вам что, если Ваш доклад состоится, Вы будете высланы...

Я встал и сделал шаг, чтобы идти.

Лопухин жестом своей сухощавой руки, дал мне понять, что объяснение наше не кончено.

— Да, Вы будете высланы из Петербурга.

— Благодарю Вас за предупреждение, оно даст мне возможность собраться и оповестить своих клиентов.

— Вы можете быть высланы далеко, очень далеко и надолго ...

— Это отвечает моей душевной потребности. Я устал от Петербурга... (Я говорил правду, незадолго перед тем умерла моя первая жена, с которой я прожил 20 лет и мое душевное состояние было очень подавлено) и рад его покинуть. Меня не пугает очутиться в новых, хотя бы и очень отдаленных местах...

Лицо Лопухина нервно задергалось. Передо мною был не тот человек, который меня встретил. Тупой, жесткой маской выглядело его лицо.

Я сухим поклоном ответил на его пристально устремленный на меня выжидательный взгляд и пошел к двери. Он остался на месте и не промолвил больше ни слова,

На другой день устроители собрания стали вызывать меня по телефону со всех концов и из квартиры Гинзбурга и из редакции «Русского Богатства». Меня спешно оповещали, что собрание для моего доклада не может состояться. Оказалось, что всех, поочередно, в том числе и Гинзбурга, вызывал Лопухин и добился наконец того, что Гинзбург отказался предоставить свое помещение устроителям вечера.

Дальнейших мероприятий не последовало.

Ни близко, ни далеко я не очутился, а остался в Петербурге, и Департамент Полиции, и сам Лопухин, бесследно, как мираж, исчезли из моего поля зрения.

Думал ли усердный директор Департамента Полиции Лопухин, когда сулил мне свое «прекрасное далеко», что не мне, а ему суждено испытать его позднее, при гораздо более тяжелых условиях ?

В политическую программу Плеве входила по преимуществу расправа не судебная, а административная: высылка из столицы лиц неблагонадежных в политическом отношении практиковалась широко. Принадлежность к адвокатскому сословию никого не спасала от расправы подобного сорта и Совету Присяжных Поверенных беспрестанно приходилось протестовать и ходатайствовать об отмене высылки присяжных поверенных и их помощников.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Из политических процессов в начале царствования Александра III-го, я принимал участие в, так называемом, «Кобызевском процессе».

Известный революционер Богданович под именем масляного торговца Кобызева, снял лавку с подвальным помещением, на Екатерининской улице, по которой в определенные дни и часы, проезжал в Михайловский манеж Александр II-ой. Отсюда подкоп под улицу был проведен кротовой, упорной и длительной работой. Богдановичу помогали его соумышленники, являвшиеся периодически сменной очередью и две проживавшие с ним девушки, одна Ивановская (фамилии другой не помню), проживавшая с ним под видом одна — жены, другая — прислуги.

Подкоп был уже почти готов, когда бомбы Желябова, Перовской и К<sup>0</sup> на Мойке покончили с царем. Кобызев и его домашние внезапно скрылись, не заделав, впопыхах, подкопа. Это повело к розыскам, и все участники преступления были обнаружены. Девушку-прислугу защищал я.

Двойственные чувства волновали меня в течение всего процесса. Судил Военный Суд и обвиняемым грозила смертная казнь. Это ледянило душу.

Но с другой стороны, капкан, систематически приготавливавшийся для несчастного «Освободителя», с расчетом взрыва, который мог грозить многим, был таким систематическим, таким беспощадным зверством.

Но люди, творившие это чудовищное зверство, совсем не выглядели ни чудовищами, ни зверьми.

Просто плакать хотелось над ними, когда проходили подробности их тяжкой, неустанной, подпольной работы, с ежеминутным риском быть захваченными и поплатиться жизнью. Сколько энергии, находчивости, терпения, сколько сил и спортивной смелости во имя безумной идеи спасти мир обгаженными кровью руками. Сколько жизненно-плодотворных сил высшего напряжения, загубленных бесплодно, в виде революционного фейерверка, эффектно взлетавшего вверх и пропадавшего на черном фоне российской действительности.

Интеллигенция благоразумно-выжидательно «тайно аплодировала», а обыватели и народ только ротозейно недоумевали пока.

Поединок Правительства с революцией был воистину поединком, в котором широкие общественные круги были безучастными свидетелями, желавшими счастливого исхода то той, то другой стороне.

Народ же, по завету Пушкина, еще «безмолвствовал». Поздно ночью судьи удалились на совещание. Подсудимых препроводили в Дом Предварительного Заключение с тем, чтобы вновь привести их к моменту объявления приговора.

Мутный петербургский рассвет медленно полз уже по противоположной стене Дома Предварительного Заключение, когда судейский звонок возвестил, наконец, о том, что приговор готов.

Побрякивая шпорами полусонные жандармы, оправляясь, ринулись «поднимать» по каменной узкой лестнице, ведущей прямо из тюрьмы в зало заседания, подсудимых, одного за другим. Первым взошел на скамью подсудимых Богданович. Это был мужчина не самой первой молодости, с внешностью мещански-заурядного типа. Его обрамленное всклокоченною бородой, вздутое нездоровою, «тюремною» опухлостью, изжелта-зеленоватое лицо, благодаря двойному освещению, от окон и от электрической люстры, казалось исполосованным не то зеленоватыми тенями, не то глубокими морщинами. Он слушал приговор стоя, держась, цепко руками за балюстраду. Когда раздались слова председателя «через

повешение», он точно только что очнувшись, качнулся вперед, потом назад и левый глаз его, который один был мне виден, как-то совсем забежал за веко, так, что мне блеснул только белок.

Вероятно, это было обморочное мгновение, которое тотчас же миновало. Из женщин никто не был приговорен к смертной казни и они кинулись, обнимать Богдановича и других, тяжело осужденных. Особенным спокойствием и самообладанием выделялась стройная, красивая Ивановская, приговоренная к долгосрочной каторге. Ее защитник, присяжный поверенный Холева, в своей высокой шляпе, принес ей на другой день несколько алых роз, когда явился к ней «на свидание». Она обрадовалась им ребячески, как «вестнику с воли».

Политические процессы не стали моею специальностью; они давались мне слишком тяжело, к тому же моя адвокатская практика с каждым днем росла. Я часто выезжал на защиту в провинцию и исколесил Россию вдоль и поперек. Политические дела в судебном порядке стали редко возникать, так как Плеве предпочитал ликвидировать их особым административным порядком. Только когда грозила смертная казнь приходилось, судить военным судом; но случаи эти были сравнительно не часты.

Уже позднее, несмотря на то, что в сословии к тому времени сложилась группа особых специалистов, защитников в политических процессах, политические убеждения которых в значительной мере совпадали с убеждениями самих подсудимых, я же не числился в этой группе, мне, все-таки, пришлось выступить в позднейших политических процессах.

Балмашев, убийца министра Сипягина, просил меня защищать его, но письмо его не застало меня, я был на защите в Одессе. Его защищал, по назначению от Суда, высокочтимый всем сословием нашим, много лет состоявший Председателем Совета В. Ф. Люстих.

Я был счастлив, что чаша на этот раз миновала меня, так как Балмашев был повешен.

Два другие наиболее сенсационные политические процессы позднейшего времени, не миновали меня.

Я защищал Гершуни, организатора многих террористических актов, и Сазонова — убийцу статс-секретаря, министра Плеве.

Гершуни, приговоренный военным судом к смертной казни, не был казнен.

Ввиду категорического отказа от подписания просьбы о помиловании, я подал такую просьбу на Высочайшее Имя от своего имени, что до тех пор не практиковалось. Помилован он был, очевидно, по желанию Плеве, который лично таинственно посетил его в Петропавловской крепости. Впоследствии это помилование ставили в связь с влиянием Азефа на Департамент Полиции, имевшего на то свои, конспиративно-провокационные виды.

Из всех политических преступников, с которыми мне пришлось на своем веку столкнуться, Сазонов, убийца Плеве, был исключительно симпатичным.

В течение продолжительных одиночных свиданий, я полюбил его искренно; да его и нельзя было не полюбить. Он был безответною жеребьевою жертвою, свершившей свое, как он думал, «святое дело», с покорностью заранее обреченного.

Речь моя в защиту Сазонова, помещенная в последнем издании моих «Речей», была напечатана и отдельной брошюрой. Мне случилось

прочитать ее и во французском судебном журнале, в прекрасном переводе.

Из всех «убийц», которых мне приходилось защищать, я Сазонова исключительно выделяю. Сопоставляя личности жертвы и убийцы я отказывалось даже формулировать его деяние убийством.

Он был приговорен к долгосрочной каторге и умер, не отбыв ее.

Отец его бывал у меня позднее и очень хлопотал о перевезении тела любимого сына на родину, в Уфу. Ему чинили в этом всяческие препятствия.

Участие мое в последних двух процессах, в связи с более ранними выступлениями в качестве поверенного гражданских истцов в Кишиневе и в родном городе Николаеве в процессах о еврейских погромах, а позднее и защита Бейлиса, доставили мне значительную популярность в еврейской адвокатской среде.

Замкнутая группа «политических защитников», стала, в свою очередь, дарить меня, не скажу доверием, но все же значительным вниманием.

Особенно пришелся по вкусу либеральной адвокатской среде эпизод неудачной попытки Плеве выслать меня административно из Петербурга, после Кишиневского процесса.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

13-го декабря 1904 г., когда я уже был женат на теперешней моей второй жене, Ольге Константиновне, урожденной Вергуниной и жил я в ее роскошном особняке на Знаменской улице, исполнилось 25-летие моего пребывания в звании присяжного поверенного. Я состоял уже в то время несколько лет сряду членом Совета Присяжных Поверенных и был в зените своей адвокатской популярности.

Кое-кто из товарищей, и в особенности милейший делопроизводитель нашего Совета, горячо преданный интересам сословия Сергей Тимофеевич Иванов, даривший меня всегда своим исключительным расположением, шепнули мне заранее, что «сословие» готовит мне чествование и что именно «левые» товарищи хотели бы раздуть его до степени общественной оппозиционной демонстрации, что могло бы, благодаря недавним моим защитам Гершуни и Сазонова, иметь, по их мнению, колоссальный успех.

Им улыбалось использовать мою тогдашнюю популярность исключительно в своих партийных целях. Они мечтали устроить публично чествование с бесконечными адресами, речами, с привлечением к нему не только представителей всероссийской адвокатуры, но и всевозможных общественных организаций, союзов и групп. После убийства Плеве давление по адресу неблагонадежных было значительно ослаблено и являлась возможность, в целях революционных, использовать момент моего адвокатского юбилея.

В средствах пропаганды господ «левые» никогда не стеснялись и готовы были шагать по чужим головам с развязностью.

Моя жена, очень стойкая в вопросах морали и обладавшая, воистину, исключительным чутьем при оценке знамений тех или иных общественных явлений, весьма решительно советовала мне не становиться ни орудием партии, ни вывескою какого-либо политического направления, принимающего притом явно революционный оттенок, так как, по ее мнению, деятельность и личность адвоката общественно-ценны исключительно с точки зрения служения праву и морали, а не задачам

партийности. Я не мог не согласиться с нею и дал понять заговаривавшим со мною о моем предстоящем юбилее товарищам, что рад буду в этот день всех принять у себя, но вне, этого, решительно уклоняюсь от всякого публичного чествования.

Ссылался я при этом и на прецедент: А. Я. Пассовер также не дал искусственно раздуть своего юбилея и ограничил его сословной дружеской беседой.

Наконец 13-е декабря наступило.

К часам я с женою были готовы для приема. К этому времени в нижнем этаже, в помещении моей канцелярии, уже собралось много народа, и извозчики; и собственные экипажи все еще подъезжали.

Наконец, компактною процессией все двинулись по широкой мраморной лестнице, устланной ковром, в обширное золоченое двухсветное зало, где у дверей гостиной поставили меня, рядом с моей женой, распорядители торжества.

Первым приветствовал меня Совет.

Тогдашний председатель Совета А. Н. Турчанинов, держа в руках массивный бювар, украшенный барельефом из темной бронзы, прочел мне адрес от товарищей по сословию.

Его искренний и душевный тон глубоко проник мне в сердце. Еще, казалось, так недавно Совет мне представлялся чем то высшим, отчасти пугалом на моем, от юных лет, адвокатском пути, а «старики» (le ancien) такими недосягаемыми «столпами» сословных заветов, и вот я уже приобщен к лику его и «старики» говорят со мною как с равным. Неужели «старик» уже и я, несмотря на то, что рядом со мною стоит такая молодая и цветущая «новая» моя жена.

После прочтения адреса А. Н. Турчанинов вручил мне «на память» от товарищей по Совету, золотой эмалированный изящный жетон, сработанный у Фаберже, по раз выработанному образцу.

В. О. Люстих, прежний многолетний председатель, отказавшись от нового выбора на эту должность, был в это время лишь членом Совета. Он подал моей жене «от сословия» роскошный букет цветов.

Такой обычай повелся у нас в сословии с моей легкой руки. Когда праздновался юбилей самого В. О. Люстиха, по моей инициативе, был заказан букет, и я, с приветствием от сословия, поднес его уважаемой супруге юбиляра.

От группы бывших и настоящих моих помощников, кроме приветственного адреса, я получил художественно исполненный темной бронзы гигантский медальон, на котором был изображен, якобы я, молодым, в римской тоге, со свечом в руках, освобождающим заключенных, томившихся в цепях.

Подношения из темной бронзы подчеркивали для меня заботливое внимание товарищей и их желание угодить моему вкусу. Они знали, что художественные произведения, именно из темной бронзы пользуются особенно моею любовью.

Комиссия Помощников Присяжных Поверенных, в адресе, поднесенном мне, в изящном бюваре, особенно подчеркивала значение моих защит в политических процессах и делах о еврейских погромах. Почти вся провинциальная адвокатура, так или иначе, подарила меня своим вниманием. Я получил груды телеграмм и адресов со всех концов России, не исключая Сибири и Кавказа.

А. Ф. Кони и еще многие представители судебной магистратуры, так или иначе, приветствовали меня. В. Д. Спасович, бывший в то время уже



«на покое» в Варшаве, слал мне привет, как «двойному» товарищу — адвокату и литератору.

В. Г. Короленко из Полтавы и В. М. Дорошевич из Москвы слали мне свои дружеские приветствия, особенно подчеркивая мои заслуги: первый в процессе Мултанских Вотяков, обвинявшихся в принесении человеческой жертвы, второй — в деле братьев Скитских, обвинявшихся в убийстве секретаря Полтавской Духовной Консистории Комарова.

Дорошевич же в самый день моего юбилея доставил мне и художественный номер «Русского Слова», где кроме очень лестной характеристики моей адвокатской карьеры, я нашел не только свои изображения, начиная от юных лет, но и, портреты моих покойных отца и матери.

Теплом и светом пахнуло мне в душу в это ясное морозное утро и, как-то по-детски счастливым почувствовал я себя эти минуты.

Взволнованно и радостно благодарил я дорогих товарищей, и думаю, что в моих словах звучала та искренняя нота горячей любви к сословию, которая всегда побуждала меня ставить его задачи очень высоко и всем существом своим беззаветно отдавать себя служению им и на адвокатской трибуне, и, в качестве сословного судьи, в Совете Присяжных Поверенных.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Когда, так сказать, официальная сторона приветствий и речей была исчерпана, все присутствующие были приглашены моей женой в обширную, столовую к завтраку.

Здесь по одному краю, во всю: ширь комнаты, был накрыт длинный стол, а затем круглые, небольшие столы, каждый на десять кувертов, заполняли остальную часть столовой.

Всех нас собралось около двухсот человек.

За длинным столом, лицом к другим столам села моя жена, а по бокам ее и против нее разместились «старейшины» нашей и провинциальной адвокатуры. Направо от жены сидел текущий Председатель Совета А. Н. Турчанинов, налево непреклонный страж сословного порядка и традиций В. О. Люстих. Интимно-оживленно текла мирно беседа за этим головным столом.

Я не имел определенного места и подсаживался, то здесь, то там, чтобы чокнуться, или перекусить на ходу с товарищами.

За круглыми столами разместились кто как хотел: помощники перемещались с присяжными поверенными. Но два стола в углу залы, были заняты определенно сомкнувшимися товарищами. Большинство их было из кружка «политических защитников» и вообще из ярко «левых». Тут был на первом месте Н. Д. Соколов, А. А. Демьянов, П. Н. Переверзев, Гинсбург, мои бывшие помощники Волькенштейн, Барт и другие. А. Ф. Керенский отсутствовал.

Мой отказ от партийного характера чествования, очевидно, побудил его подчеркнуть свой абсентеизм.

Я знал вообще, что не пользуюсь его симпатиями и что в этом настроении не малую роль играло жало неудовлетворенного честолюбия, так как на поприще чисто адвокатском он был только едва заметен.

Все шло до поры до времени вполне благополучно. Было непринужденно оживленно. Говорили застольные речи каждый, кто хотел, а хотели все.

Одною из первых раздалось звонко-кованное чисто русское слово

П. А. Потехина. Ни изгибов мысли, ни пестроты орнаментов, но красота в самом сочетании простых и ясных русских слов.

Посредственный адвокат, но прекрасный застольный оратор, В. Ф. Леонтьев, в противоположность первому, весь в недомолвках, сопоставлениях и намеках, очень понравился всем.

Ник. Ник. Раевский и чудный товарищ и прекрасной души человек, пародировал в своей речи собирательного прокурора, очнувшегося в день моего юбилея и мечтающего о том, как бы хорошо было ему прокурору жить на свете, если бы адвокат Карабчевский вовсе не родился, и сколько было бы у него тогда обвинительных приговоров, и сколько отличий и повышений по службе выпало бы на его долю.

Говорил долго, совершенно к тому времени оглохший, радикал Ник. Мих. Соколовский. Проникновенно и упорно желал он скорейшей конституции и. предрекал ее. В том же духе намекали другие и образами говорилось еще многое.

Нашелся один остряк, который осетрину под хреном возвеличивал над конституциями всего мира и пришел к заключению, что кулинарное искусство и политика требуют тех же приемов, дабы зря не портить на большом огне провизии.

Пока все было вполне терпимо. Но, вот, начали срываться с места ультраевые товарищи.

Пошла безудержная элоквенция митингового характера. Меня чуть не провозгласили анархистом и будущим главою революции. Жена моя, терпеливо до тех пор слушавшая, вдруг поднялась во весь рост и, чеканя каждое слово, остановила расходившегося оратора. Она сказала, что не может допустить, чтобы в ее присутствии, и в ее доме, позволяли себе вести революционную пропаганду и что она решительно протестует против продолжения подобных речей.

На секунду наступило гробовое молчание.

Речи умолкли, но уравновешенные товарищи, бывшие за столом, где сидела моя жена, стали продолжать с нею оживленно прежнюю беседу, как бы желая подчеркнуть, что вполне понимают и одобряют ее вынужденное выступление.

Большинство и за малыми столами также остались на месте, но бывшие за двумя столами «левые» демонстративно-шумно вскочили со своих мест, постояли безмолвно несколько секунд, как бы приглашая остальных последовать их примеру, и направились к выходу. Впереди всех был Н. Д. Соколов. В дверях они еще оглянулись. Потом всей гурьбой вышли в прихожую, постояли там и, одевшись, постояли еще и у подъезда на улице.

Мое положение было не из веселых. Провожая их у дверей я просил их остаться, но не находил возможным ни оправдывать их митинговых выступлений, ни извиняться за вполне естественный, при ее стойких убеждениях, протест жены.

Никто кроме них не покинул столовой и после их ухода, стало только оживленнее и уютнее.

А. Я. Пассовер и В. О. Люстих особенно заботливо оказывали внимание моей жене, как бы желая подчеркнуть, что понимают и вполне одобряют ее поведение.

Этот «эпизод» попал в печать; в берлинских газетах и в одной

английской он появился в качестве «знамени времени», характеризующего повышенность общественного настроения столицы.

В товарищеской среде, вероятно, о нем много было толков самых разноречивых, но лично я не только не подвергся сколько-нибудь ощутимому сословному бойкоту (вне небольшой горсти участников инцидента, осуждавших мое пассивное к нему отношение), но при новых выборах в Совет, вновь был избран членом его, обычным большинством голосов.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

В связи с японской войной время наступило, в общем, крайне тревожное.

Злосчастная война, затеянная нелепо и поведенная неудачно, открыла новые пути для интенсивной критики «существующего строя» и для сочувственного отношения к стремлениям интеллигенции добиться во чтобы то ни стало спасительной «конституции».

Земские, городские и профессиональные организации, как из рога изобилия, стали сыпать своими «резолуциями», явно выработанными по одному и тому же шаблону.

Либеральная интеллигенция смаковала предстоящие затруднения государственного порядка, так как непопулярность, правительства достигла своего апогея. Стали почти открыто образовываться политические партии, будущие парламентские.

Революционеры со своей стороны тоже не дремали и умудрялись искусно проникать в рабочую, среду и делать ее своим послушным орудием.

Пошли забастовки: посидел Петербург и без воды и без электричества. Тогдашний правительственный премьер Витте вздумал было переключиться с премьером рабочих организаций, Носарем. Он к ним с лаской, назвал «братцами», а они отвечали ему нелюбезно, отрекаясь от всякого с ним родства и собратства.

Дело временами, принимало весьма угрожающий оборот. Гадали: на чью сторону станет войско, гвардия в особенности? Но в Петербурге войско еще было надежное, хотя были попытки революционировать даже Преображенский полк.

В сословии присяжных поверенных открылось широкое поле деятельности для «левых» с Н. Д. Соколовым и А. Ф. Керенским и Исаевым во главе. Они легко стали овладевать адвокатскою молодежью и всеми «безличными», высокопарно-демонстративно, словно по заказу, поголовно примкнувшими к «освободительному движению».

Сословные общие собрания моментально превратились в бурные политические митинги. «Старики» еще держались, но их пророческим предостережениям уже туго внимали.

В заседания Совета нередко без доклада врывалась, та или другая группа, требуя зажигательных резолюций и постановлений. На тогдашнего председателя, мягкого и деликатного, А. И. Турчанинова, наседали со всех сторон и нередко вырывали у него распоряжения, от которых он, вслед затем, перед Советом болезненно каялся. На него было жалко смотреть, таким грубым натиском шли со всех сторон на него развязные требования, чуть ли не властные окрики.

Сидя в Совете, в качестве его члена я, также как и В. А. Люстих, В. И. Леонтьев и еще некоторые, глубоко этим возмущался и настаивал на

сохранении полной сословной дисциплины. Но момент был упущен, все даже внешне распустились, до неузнаваемости. В общем собрании стали бесцеремонно зажимать рот каждому, кто не являлся подголоском общему взбаламученному настроению.

В других сословных и профессиональных организациях и учреждениях это настроение проявлялось еще в более грубой форме.

«Вывозить на тачках» считалось заурядною мерою воздействия на «начальствующих» лиц, не только на заводах и фабриках, но и в таких учреждениях, как больницы. Знаменательный случай такой расправы с главным доктором больницы для душевнобольных Св. Николая Чудотворца, Реформатским был особенно характерен, так как инициатором его был «интеллигент», молодой врач, временно командированный в больницу.

Боевой лозунг «всеобщей, тайной, равной» (подачи голосов) висел в воздухе, и объединял, пока что, все затаенные вожделения, домыслы и чаяния отдельных партий, союзов и фракций.

Особенно сильным орудием воздействия на «безразличных» и «беспартийных» являлись стачки и забастовки, нарушавшие течение раз налаженной обывательской жизни. Обыватель оставался, как всегда, обывателем, инертным, трусливым, беспомощным, ожидавшим, как и кто, какой палкой, погонит его в ту или другую сторону. Ему почти безразлично идти ли вправо, или влево, лишь бы его не заставляли геройствовать и, чего Боже сохрани, не лишали маленьких жизненных удобств.

Еврейский «интеллигент» проявлял особенно-активную энергию, с развязностью дотоле не обнаруживаемую. На каком-то собрании Оскар Грузенберг держал себя уже величественно-победоносно. У него нашелся даже «жест» по адресу полиции. Когда, пристав приказал околodочному записать присутствующих, Оскар тут же отдал немедленно распоряжение своему подручному записать фамилию пристава и околodочного.

Революция на сей раз, пока только политическая, а не социальная, шла всем своим боевым аллюром.

Буржую «штыка в живот» пока еще откровенно не сулили и буржуй упивался сознанием своей высокой миссии, идя молниеносным походом, пока что на «бюрократию». Прозорливостью он не отличался, хотя некоторые признаки, последующей жалкой его роли, для внимательного взора, уже обозначались.

В день стрельбы на Невском, по случаю Гапоновского шествия к Зимнему Дворцу, отдельные группы рабочих весьма злобно косились на «собственные» экипажи и пускали по адресу их владельцев не двусмысленные грубые намеки из области провидения «светлого» будущего.

Но «всеобщая», «тайная», «равная», все это должна была, разумеется, поглотить, наладить и поставить на место. Главное было теперь добиться «этого», остальное приложится. Добивались всеми средствами, не снисходя до моральной оценки приемов и средств.

В один из очень тревожных дней, в связи с Гапоновщиной, один знакомый мне саперный офицер прибежал ко мне прямо от «Доминика» и, еще запыхавшись, сказал: «знаете ли у «Доминика» было собрание, решили выставить вашу кандидатуру в президенты российской республики, Вите провалился!». Я посмотрел на него, как на сумасшедшего и сказал: «будь я на месте царя, я бы и Вите, и себя, да и

Вас, кстати, приказал немедленно повесить. Это бы Вам наглядно доказало, как вы рано возмечтали о республике. Не стыдно ли так терять голову !..»

Он сконфуженно умолк.

С большой откровенностью пришлось мне высказаться и по специальному вопросу об «адвокатских забастовках» и «снятия судей», что не только стояло на очереди, но, частично, уже и практиковалось.

Дело обстояло так. Всеобщая адвокатская забастовка усиленно пропагандировалась на случайных общих собраниях присяжных поверенных и помощников. Делегаты этих «частных» собраний врываются в комнату Совета, во время его заседаний и требовали, чтобы общая забастовка была организована и санкционирована авторитетным и обязательным для всех членов сословия, постановлением Совета Присяжных Поверенных.

Растерявшийся Председатель Совета А. Н. Турчанинов обещал срочно внести этот запрос на обсуждение Совета. Тем временем отдельные группы молодых адвокатов рыскали уже по судейским коридорам, врываются в залы заседаний и совещательные судейские комнаты и требовали от судей прекращения судейской работы, приглашая их примкнуть к всероссийской забастовке.

Эффекты получались разные: где были председатели потрусливее, там заседания моментально срывались; в других местах, после молниеносного «скандала», они кое-как опять налаживались, Особенно стойко и энергично проявил себя Первоприсутствующий Сенатор Уголовного Кассационного Департамента Г. К. Репинский: он просто ругательски гаркнул во всю мочь на свору проникших в Сенат «снимальщиков» и с позором выгнал их вон.

Поставленный перед Советом Присяжных Поверенных вопрос об «общесословной забастовке» требовал докладчика и А. Н. Турчанинов предложил не найдется ли среди членов Совета «желающего». Я тотчас же откликнулся.

Меня глубоко возмущала самая идея о возможности «правосудию бастовать» как раз в те моменты, когда оно больше, и чем когда-либо, обязано действовать. Никакой параллели с другими профессиональными и рабочими забастовками «забастовка правосудия» в моих глазах не имела. Я взялся к следующему же заседанию написать мотивированный доклад, энергично подчеркнув в нем абсолютную неприемлемость для присяжной адвокатуры иной точки зрения.

Большинство Совета облегченно вздохнуло и радостно приняло мое предложение. Мой мотивированный доклад был принят и, без возражений, вошел целиком в постановление Совета, решительно осуждавшее, как «снятие судей», так и сословную забастовку. Постановление это вызвало целую бурю в среде сословия и в той части повседневной печати, которая после убийства Плеве и последующих событий, стала неудержимо радикальной.

Ближайшие же весенние выборы в Совет ознаменовались усиленной агитацией с целью моего забаллотирования. Милейший делопроизводитель наш С. Т. Иванов, таивший в сердце свою большую ко мне нежность, шепнул мне об этом, давая понять не лучше ли будет мне самому снять свою кандидатуру, чтобы не подвергаться позору забаллотировки.

Я его успокоил и сказал, что хочу быть забаллотированным, чтобы

подчеркнуть, что я непреклонно остаюсь при своем мнении, считая его единственно соответствующим интересам и достоинству сословия.

Забаллотирование мое действительно имело место, но далеко не тем внушительным большинством шаров, на которое агитация метила.

В ближайшем затем общем собрании нашлись «товарищи», даже из бывших моих помощников, которые порешили «допечь» меня во чтобы то ни стадо: именовали и Николаем III-м и последователем политики самого Плеве ...

Философское равнодушие, не покидавшее меня, раздражало их больше всего. Они рассчитывали, что я «сдам», стану оправдываться, может быть, даже раскаиваться, по примеру двух-трех членов Совета, которые подписанное ими же постановление теперь соглашались признать поспешным и неудачным. Расчеты эти не оправдались, я ограничился заявлением, что свобода мнений есть лучшее достояние нашего Сословия и что я рад, что в такой боевой и острый для сословия момент им пользуются сполна. Год спустя, несмотря на соблазнительное число записок, выставивших вновь мою кандидатуру в члены Совета, я отказался баллотироваться.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

То, что общеизвестно, не стану воспроизводить здесь.

Отмечу только этапы.

Испугом царя сумел воспользоваться Витте ровно настолько, чтобы самому удержаться у власти.

Октябрьский манифест требовал энергичного и широкого осуществления реформ, которых не последовало.

Муравьев, преимущественно дискредитированный в качестве Министра Юстиции, сбежал послом под благодатное небо Италии. Никакого «нового» режима, в сущности не наступало, все держалось в правительственных сферах на смутной надежде: «авось уладится».

В конце концов, в виду аграрных бунтов с иллюминациями московской революции и организовавшимися то там, то здесь, «республиками», всплыли Дурново и Дубасов и, «авось» осуществилось, благодаря энергичной репрессии с расстрелами и жестокими карательными экспедициями. Забастовки, особенно железнодорожные, периодически все еще повторялись, в стране было вообще неспокойно, когда выдвинулся и стал у власти Столыпин.

Мало-помалу, ему удалось, довольно умно, на первых порах осторожно, восстановить внешний порядок в стране.

Столыпин из всей плеяды последних наших бюрократов был несомненно выдающимся, может быть даже, за многие годы, единственным государственным человеком, по уму и талантливости. Во всяком случае он понимал, что «великая Россия» и «великие потрясения» стоят уже липом к лицу и рассчитывал еще отстоять ее.

Как думский оратор он был несомненно выше своих думских оппонентов и, если бы он не был связан по рукам Царскосельской распутиновщиной и ставленниками оттуда, он несомненно наладил бы правильно конституционный режим. Но его сторожили с двух концов.

Богров, не то социал-революционер, не то ставленник «темных сил», а может быть одновременно и то и другое, ухлопал его в Киеве в театре на парадном спектакле на глазах Царя, при наличии усиленной охраны.

Смерть эта вызвала ликование среди революционеров, избавила левых думцев от сильного противника, но не слишком огорчила, как говорили, и Царя ...

С текущими «потрясениями» Столыпин к этому моменту почти уже справился, но с Распутиным и его ставленниками никак, несмотря на всю свою энергию, справиться не мог. После него, по меткому словечку забавника Пуришкевича «пошла та игра в чехарду», с беспрестанною сменой правящих, на политическом ристалище, государственной колеснице. «Игра», которая от Горемыкина и Щегловитова привела к Штюрмеру и Протопопову, пока, наконец, и сама колесница не низринулась в пропасть.

Для меня, как и для всех во время последней войны было ясно насколько неблагоприятно положение России, не столько вследствие неустойчивости наших военных успехов на фронте, сколько вследствие внутренних трений и подпольной работы в тылу. Отчасти усталость от войны, отчасти иноземные влияния, отчасти упрямая партийность интеллигентных кругов — все способствовало развалу патриотического настроения, необходимого для сколько-нибудь успешной борьбы с внешним врагом. О Царском Селе основательно, или безосновательно, иначе не говорили, как о гнезде чуть ли не явных измен и интриг, настойчиво ведущих к сепаратному миру. Политические шептуньи, вроде Гучкова, в данную, минуту не у дел, туманно пророчествовали и обсуждали грядущее. То там то здесь, по примеру 1904—1905 годов, пошла серия «резолуций» и попыток отдельных союзов и организаций сказать свое «властное слово».

Государственная Дума, пока, что, не поддавалась еще явно революционному настроению, но стенобитно, по раз налаженному методу, била все в одну и ту же точку — дискредитирования власти.

«Приличные» министры (вроде Трепова, Игнатьева) не выдерживали пробы ни в Царском ни в Думе. Не успевши прикоснуться к власти они уже ее утрачивали. В сущности, царил уже глухая анархия. Каждый случайный у власти тянул в свою сторону и тут же шлепался при малейшей натуге.

Революционные элементы всюду закопошились. «Тыловые воины» в разных организациях «усталые от монотонной войны», почували приближение момента, когда они понадобятся для более активных выступлений.

Еврейский вопрос, особенно в виду начавшихся нередко своекорыстных облав на «пораженцев» и «хищников тыла», принял характер весьма острый, отчасти властный, благодаря денежному могуществу затронутых лиц.

Физиономия Государственной Думы с каждым днем, почти с каждым часом меняла свое выражение. Родичев, Маклаков и сам Милюков не оставались более единственными «властителями» ее заветных дум. Пуришкевич перестал балагурить, а там и вовсе скрылся на фронт, в качестве заведующего санитарным отрядом, проявив на этом поприще массу доброй воли и энергии.

На «боевых заседаниях» Думы, а они теперь почти сплошь стали «боевыми», первыми запевалами уже являлись такие левые, как Чхеидзе, Церетели и, конечно, Керенский, который ранее, и в качестве думского оратора, имел лишь посредственный успех.

Но фронт, тем временем, еще стойко держался, там кровь еще лилась «за Царя и Отечество» и негодующее голоса по поводу «ненадежного тыла» еще не раздавались во всеуслышание.

На Кавказе фронтовые успехи были значительны. Но что, значили они по сравнению с неблагополучием Петрограда, где престиж Великого Князя Николая Николаевича, как воина и патриота всячески умалялся и дискредитировался.

Мне случилось быть в Тифлисе, когда туда пришла весть о взятии Саракмыша. Надо было видеть, какое искреннее ликование, какой энтузиазм овладел разношерстной и разноплеменной толпой при появлении на улицах Тифлиса, пришедшегося по вкусу разношерстному населению Кавказа, видного, героически внушительного Царского Наместника.

Это был единственный Великий Князь, который в течение войны имел престиж и власть, но и его, как губкой, стерло из народного сознания, как только Царскоесельские власти разжаловали его как Верховного Главнокомандующего.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

С остальными Великими Князьями, а их у нас всегда было множество, никто не считался.

В либеральных кругах, правда, выделяли Николая Михайловича, как автора исторических монографий и молодого красавца Дмитрия Павловича, как «не глупого».

Остальные Великие Князья дальше будуаров и уборных балерин и танцовщиц никуда не заглядывали и проводили время среди собутыльников, разнослойных прихлебателей и поклонников отечественной хореографии.

Андрей Владимирович, пока он проходил свой курс в Военно-Юридической Академии, интересовался уголовными процессами. Он присутствовал и на процессе Гершуни и на процессе Сазонова.

По поводу этих процессов мне, при случайной с ним встрече, пришлось перекинуться несколькими словами, так как он интересовался знать — имеются ли в печати эти мои речи, которые он прослушал.

Помню его характерную и чуть ли не единственную фразу, которую он обмолвился по поводу подсудимых.

— Знаете ли когда читаешь о процессе и слушаешь его получается совсем другое... Вот эти Ваши два революционера, их начинаешь понимать... Когда Вы говорили в их защиту, я понимал, что это не злодеи, а подневольные служители охватившей их идеи...

Тирада, несмотря на ее отрывочную туманность, свидетельствовала, во всяком случае, о проблесках вдумчивости.

Знавшие его ближе утверждали, что он подает надежды не быть похожим на остальных Великих Князей. Но, по примеру всех царственных Романовых, женское влияние всецело овладело и этим, подававшим некоторые надежды, молодым человеком и он ничем не проявил себя.

С другим Великим Князем, именно Николаем Михайловичем, мне случайно выпала более продолжительная беседа.

Однажды, живя летом в Царском Селе, я ехал по железной дороге с поездом, где ехало не много народа. В отделении первого класса я был



один. Вошел какой-то свитский генерал, я принял его за генерала Безобразова, с которым лично знаком не был. Генерал, социабельно сел прямо против меня, спросил можно ли открыть окно, я разумеется согласился. С этого началась наша беседа, не прекращавшаяся затем вплоть до Петрограда.

Из слов генерала я понял, что он знает с кем, в моем лице, имеет дело.

Между прочим, он спросил меня: почему я не в Государственной думе, причем весьма лестно оттенил насколько он считал бы полезным мое участие в политической жизни.

Я возразил, что в такую переходную минуту государственного режима я был бы там лишним. Моим моральным принципам претят бесцельно мутить и без того взбаламученную, общественную совесть. Для правильной же парламентской плодотворной работы, или хотя бы совещательной с Монархом, время, по-видимому, не настало и не скоро еще настанет. Притом же я не партийный человек, ни к одной из существующих политических партий я бы, по совести, не мог пристать; в качестве же «дикого» был бы слишком бесплодно одинок, в той партийной сумятице и в том вихре заведомо несбыточных обещаний, которыми щеголяет каждая партия, мутя народное сознание. В идее я даже скорее поклонник самодержавия. Царь сам должен идти впереди всех действительно назревших нужд народных. На месте Царя я бы немедленно дал аграрную широкую реформу, автономию окраин; урегулирование рабочего и еврейского вопросов, я бы выхватил из рук не только наших политиканов, но и самих революционеров и народ боготворил бы Царя.

На это генерал живо мне возразил: «Да, но для такого смелого шага нужен был бы Петр Великий, только при его энергии нечто подобное могло бы осуществиться. Ну, а у нас же, ведь, не Петр Великий!..»

Последние, как мне показалось, иронически недоговоренные слова меня покоробили своею откровенностью в устах свитского генерала. Я пристально посмотрел на него. Он продолжал:

«Цари низведены теперь на положение статистов, они призваны царствовать, но не управлять ...»

Я согласился с ним, что современное положение царей незавидно.

Несколько минут спустя, когда мы заговорили о минувшей японской войне, я спросил его:

— Вы генерал участвовали в этой войне?

Он быстро пожал плечами и усмехнувшись живо ответил:

— Да нет же! Нас Куропаткин к себе решил не допускать. Великие Князя ему мешали ...

Тут только я сообразил, что я дал маху, приняв Великого Князя Николая Михайловича за генерала Безобразова, с которым он имел лишь отдаленное сходство.

Я извинился, стал называть моего собеседника Высочеством, а он весело рассмеялся и сказал: «Хорошо, что мы договорились, а то бы Вы считали генерала Безобразова чуть ли не революционером, а он отличный служака и бравый генерал!..»

Выйдя из вагона, он, по-приятельски, пожал мне руку и почти бегом пустился к выходу, чтобы захватить извозчика.

Исторические литературные опыты Великого Князя мне были известны; в самое последнее время, незадолго до «великой революции» он выпустил свой труд о Павле I-м и в рассказе об его убийстве весьма

недвусмысленно давал понять прикосновенность к нему своего «Благословенного» предка.

Внешний радикализм Николая Михайловича выражался в его общении с первым встречным из либерально окрашенных и еще в том, что он был небрежен в туалете и ездил исключительно на извозчиках.

Вера в царственную особенность своей крови им, очевидно, была уже потеряна.

При том количестве Великих Князей, которое имелось налицо, они могли бы быть в трудные минуты верным оплотом Государя, но им было не до помыслов о своей государственной миссии.

Даже в среде своих, близких, несчастнейший из смертных Царь Николай II-й был беспомощно одинок, весь во власти гнездившегося вокруг него своекорыстия, обмана и измены.

«Бывший наследник» Михаил Александрович, женатый на простой смертной, был иного склада, но он чуждался политики и был всецело предан семейной добродетели.

В ту минуту, когда я пишу эти строки, я уже знаю какою мученической смертью погиб не только Царь, но на глазах его и вся его семья. Через какие унижения, ужасы и муки прошел «самодержавный» монарх.

На веки несмываемый для России позор... Нервная дрожь колотит меня в эту минуту, когда я вспоминаю, что я тоже «русский»...

Когда Николай II-й, после отречения, был тотчас же грубо арестован, я думал, что состоится по крайней мере суд над ним. Керенскому, который, на первых порах намекал на это, я тогда же сказал: «я буду его защитником». И из всех моих защит не было бы более сильной, искренней и убежденной...

Казнь Людовика XVI-го ничто по сравнению с тем зверством, которым dokonали несчастного.

Виновны ли одни те звери, которым под конец досталась эта царственная добыча? Нет! — Родзянко, Гучкова, кн. Львова и в первую голову конечно Керенского я считаю его истинными мучителями и палачами. Раньше всего и прежде всего, раз он уступил им свою власть, они, рискуя не только своею, «революционную популярностью», но самую жизнь свою, обязаны были спасти его с семьею, оставшейся для него единственным сокровищем от всего царства Российского.

Они позорно умыли руки, в его судьбе из страха за свою личную участь.

Люди, которые берутся за героические дела, обязаны быть героями. Их же «геройство» все ушло в чувство животного самосохранения, которое помогло им лично благополучно улизнуть в нужную минуту.

Гадайте после этого, почему провалилась «великая» русская революция и была ли в ней хоть черточка истинного величия, способного захватить народную душу.

Народная, искусственно революционно взбаламученная, совесть бессильно отплевывает до сих пор свою пену — большевизм.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Увы, года за полтора до февральской революции мне пришлось почти те же соображения высказывать самому Керенскому, предрекая ему и его партии ближайший эффект их революционного рвения.

В то время я был уже вновь переизбранным председателем Совета Присяжных Поверенных, так как с 1907 года, (после временного остракизма из-за постановления о забастовке) я стал вновь пользоваться полным доверием и вниманием сословия.

Сами левые клали мне белые шары на выборах, так как во всех личных своих неблагополучиях прибегали ко мне, как к председателю Совета, за советом и защитой.

Но по части политических «убеждений» это не мешало нам расходиться явно и при случае, когда застрагивались сословные интересы, я не упускал случая вступать с ними в открытую борьбу. В составе Совета в последние два года ярко окрашенный левый элемент был уже представлен довольно определенно.

Прошли прежние времена, когда Совет по своему составу был спаянным целым, благодаря долговременному пребыванию в нем все тех же членов. Общие собрания тогда бывали редко, созывались только очередные и посещались туго. Теперь, в виду часто возникавших разномыслий между отдельными Советскими группами, многие вопросы приходилось вносить на обсуждение общего собрания, созываемого ad hoc, по инициативе Совета, или по заявлению отдельных адвокатских групп.

Этим, обыкновенно, пользовались «левые», чтобы, вне сословных вопросов, вести политическую пропаганду в духе тогдашних настроений и партийных чаяний.

С самого начала войны, что-то в роде патриотического энтузиазма овладело сословием. Оно само себя обложило весьма значительными сборами и организовало прекрасный лазарет больше чем для сотни раненых и больных солдат. Лазаретом заведовала особая выборная комиссия и сословные дамы вносили своим трудом и заботами много гармонии и порядка в это доброе, прекрасно поставленное дело.

Раненых отлично лечили, кормили и вообще баловали всем чем могли, устраивая на Рождество елку, а в праздники летучие концерты и чтения.

Кроме этой повинности был еще особый сословный сбор для поддержки семей тех призванных на военную службу адвокатов, которые в том нуждались.

Наконец, стараниями покойного В. О. Люстиха было налажено и нечто более сложное и ответственное. При некоторой субсидии от Союза Городов, на сословные средства был организован летучий санитарный отряд «имени Петроградской адвокатуры», отправленный на фронт. Провожая его, после торжественного молебствия, с Варшавского вокзала, я, в качестве, председателя Совета, напутствуя его, обратился к П. Н. Переверзеву, который был поставлен во главе его, в качестве заведующего, с речью, в которой подчеркнул, что он призван функционировать в качестве «сердца сословия», которое должно биться в унисон с сердцами тех братьев наших, которые, не щадя жизни, бьются в тесных окопах во имя спасенья родины и всего цивилизованного мира от грубого натиска железного бесправия, желающего стереть с лица земли силой, то, что нам должно быть всего дороже — право.

Выбор Переверзева оказался весьма подходящим. Он очень удачно с большой инициативой справился со своей задачей и отряд наш пользовался популярностью на фронте, в чем я лично убедился, когда в декабре 1916 г. пробыл в нем рождественские каникулы.

Вопросы, возникавшие по организации и содержанию, как лазарета, так и отряда, часто бывали предметом общих собраний, в которых могли принимать участие и помощники присяжных поверенных, как участники сбора, на их содержание.

Керенский, поглощенный революционированием Государственной Думы и партийными делами вообще появлялся редко на сословных общих собраниях. Тем более таинственно-эффектным было его появление на том чрезвычайном общем собрании, на котором состоялось наше с ним единоборство.

Об атмосфере революционно-накаленной в то время еще ни было речи, она, пока что, еще только, с разных концов, старательно накаливалась.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Текущие занятия общего собрания были в полном разгаре, когда я, восседая за возвышенным столом нашего президиума, рядом с всегдашним почетным председателем наших собраний, престарелым Д. В. Стасовым, который мирно задремывал от времени до времени, но аккуратно высиживал до конца, заметил появление в собрании, то в одиночку, то небольшими пачками в два, три человека «яро-левых», обычно мало интересовавшихся чисто сословными делами. Набралось их человек 20—30, и все они устремились в левый угол судебного зала, в котором происходило наше собрание, размещаясь на пустовавших до тех пор, скамьях подсудимых и защитников.

Наконец, появился в дверях и сам Керенский.

В то время появление его еще не знаменовалось ни рукоплесканиями, ни овациями. Не нарушая порядка, он незамеченный, пробрался к группе своих единомышленников.

Я заметил его и сообразил, что приход его — предвестник момента, когда мирное общее собрание превратится в бурный политический митинг.

Признаки этого тотчас же и обнаружилились.

В числе участников общего собрания был на лицо и «знаменитый», по своему, Анатолий Кремлев. До сих пор он смиренно сидел между «беспартийными». С приходом Керенского он заволновался, извлек из кармана; какую-то бумажонку, стал показывать ее сперва соседям, а затем, держа, ее в руках, вскочил и стал просить «слова к порядку дня».

Анатолий Кремлев был в сословии на положении белого волка, которого всегда и всюду «замечают». Этим и ограничивалась его популярность.

Быть «замеченным» было его исчерпывающим призыванием, а по какому поводу замеченным, для него, а тем более для других, было безразлично.

Он состоял членом всевозможных союзов, обществ и кружков, начиная с дамских благотворительных, потребительских, театральных, художественных и кончая учеными и профессиональными, всевозможных специальностей.

Он не уставал посещать их заседания и в утренних газетах всегда был отмечен: «был и Кремле». Далее ничего не следовало, но факт присутствия был неизбежно констатирован.

В бурный период 1905—1906 годов, как и сейчас, он бывал особенно настойчиво вездесущ.

Союзы, союзы союзов, организации, всевозможные адреса и резолюции, подчас даже противоположных направлений, не могли его миновать. Будучи «адвокатом без дел», времени у него хватало решительно на все.

В адвокатуре с ним менее всего считались, но, так как без Анатолия Кремлева не обходилось ни одно общее собрание, то и здесь его присутствие получило санкцию общественного служения.

Теперь когда он поднялся с места, и попросил слова, которое ему и было предоставлено, вся группа «левых», с Керенским во главе, внимательно насторожилась.

Так как он подобной чести не часто удостоивался, то не трудно было сообразить, что за этот раз Анатолий Кремлев призван сослужить именно этой группе важную службу и для сего облечен ее доверием. Ради «партийного удобства» его, в качестве «беспартийного», выпустили вперед, чтобы оттенить, что вопрос, который сейчас будет поднят, назрел и неотложен.

Почти не мотивируя своего предложения, с видом школьника затвердившего свой урок, он провозгласил проект, заранее заготовленной резолюции, категорически обязывающей адвокатское сословие примкнуть к протестам, требованиям и воззваниям, направленным против «гнилой власти». Протесты и воззвания подобного содержания уже готовятся поголовно всеми общественными организациями и стыдно было бы «нашему передовому сословию» замедлить и опоздать в таком патриотическом деле, ибо «враг уже у ворот».

Выстрел Кремлева пропал даром. Все отлично понимали, что говорит он не свое, а начинен «левыми». Его выступления вообще встречались в адвокатской среде равнодушно, большею частью с иронической терпимостью.

Раздались голоса, требовавшие «оставить это» и вернуться к текущим занятиям. Кто-то крикнул: «долой Кремлева!»... Тогда, как ужаленный, вскочил с места Керенский и стремительно продвинулся к столу президиума.

Он был бледен и настоятельно требовал слова также «к порядку дня».

Слово ему было предоставлено.

Едва успел он начать с обращения «товарищи»!..., как кучка его единомышленников неистово зааплодировала. Аплодировал и Анатолий Кремлев. Все прислушались.

«Враг у ворот!» — начал Керенский свою речь и стал нервно-истерично повторять то, что он уже много раз пытался говорить в Думе, что открыто проповедывал на всевозможных частных собраниях, желая доказать, что наседающего сильного внешнего врага мы можем победить, только расправившись с нашим внутренним врагом, собственным правительством, помышляющем лишь о предательстве и унижении России.

Самая постановка вопроса могла захватить хоть кого и немудрено, что первая речь Керенского была покрыта громозвучным рукоплесканием всего собрания.

Я решил, считая это своим долгом, возразить ему, чтобы не допустить сословие до необдуманного шага, в котором оно могло бы впоследствии раскаиваться. Положение мое среди заволновавшегося многоядного собрания, было не из легких.

Я начал с комплимента по адресу «трудовика» Керенского, который,

вне судеб рабочего класса, наконец обеспокоен судьбою всей России и согрет самыми горячими патриотическими чувствами. Чувства эти и заставляют его видеть неминуемую опасность там, где пока еще ее, — слава Богу! — нет, и не позволяет провидеть большую опасность, может быть, гибель России от той революции, к которой он так властно призывает нас во время войны.

Такого удара с тыла не выдержит никакой фронт; при первой вести о нем он рассыплется в прах, как раз, открывая прямую и гладкую дорогу врагу в те ворота, у которых, по мнению уважаемого Александра Федоровича, он пока еще только стоит. Из моего опыта, почерпнутого во время моего пленения, в начале войны, в Германии, я удостоверился, что именно враг, как никто, ждет не дожидается, российской революции. Поэтому я призываю: сословие, как наиболее интеллигентное (что и обязывает) к некоторой дальновидности и ни словом, ни делом, не ослаблять героическое напряжение фронта до окончания войны и твердо верить в то, что только победа над германским абсолютизмом откроет нам самим прямую, и может быть легче чем мы думаем, дорогу к светлому будущему.

Речь моя была встречена такими же бурными овациями, как и речь Керенского.

Тогда он снова вскочил с места и, говоря на ту же тему, стал повторяться. Я возражал. Мы, обменялись тремя речами.

Повторения его становились все бледнее и бледнее, именно потому, что, и по форме и по содержанию, это были только повторения.

Под конец, вероятно, даже вне его расчета, всплыл новый аргумент, который ясно обнаружил партийную директиву. У него вырвалась такая фраза: — «поймите, наконец, что революция может удалась только сейчас, во время войны, когда народ вооружен и момент может быть упущен навсегда!»

Эта тирада развязала мне руки.

Сакраментальный девиз социал-революционеров, одержимых зудом революции, во чтобы то ни стало, предстал передо мной во всей своей безумной наготе и у меня нашлось достаточно аргументов, чтобы осудить его.

«Пусть никогда, но не теперь!» вырвалось у меня, и мысль моя заработала в этом направлении страстно и энергично: «Партийно-классовый патриотизм в минуту, требующую напряжения всех сил страны, не патриотизм, а преступление. Маска патриотизма остается только маской, когда ее надевают для достижения партийных вожделий и целей. Победа нужна всей России, как воздух и было бы преступно отравить его удушливыми газами классовой вражды и ненависти. Сейчас революция — гибель России!»

В одной из своих реплик Керенскому я нарисовал попутно и картину близкого будущего, если революция все-таки разразится.

Мне горько сознавать теперь, что все сбылось по злему пророчеству моему, которое вырвалось у меня в аффектированную минуту безудержной работы мысли и воображения.

Я сказал:

— Неужели вы думаете, что, даже захватив в такую минуту власть, вы останетесь господами положения и сумеете удержать в разумных

пределах разбушевавшуюся стихию. Никогда этого не бывало, при насильственных переворотах, и вам не удастся.

Вас душит теперь «гнет» царской власти, но в сравнении с тем, что неизбежно придет ей на смену, «гнет» этот окажется только пушинкой. По вашим пятам кинутся все «голодные властью», жаждущие не свободы, а только власти. Их сила будет куда интенсивнее вашей. Нет тех жестокостей, перед которыми они бы остановились, чтобы удержать ее. Французская революция, великая тем, что впервые прораставшие идеи свободы, равенства и братства взрывали почву, чтобы вырваться на свет Божий, но и там, сколько варварских жестокостей и ненужных жертв. Теперь же не об этом речь. Великие идеи давным давно проросли и общепризнанны. Речь, стало быть, пойдет о реальном дележе добычи. Сообразите же кто и как ринется на первые места в такой борьбе. Вы пеняете Николаю II-му и за коронационную «Ходынку», сообразите же какую всероссийскую Ходынку вы сами готовите родине».

Дрожа от внутреннего волнения и утомления, опустил я в кресло, когда пошла баллотировка закрытыми записками (на чем я настоял) предложенной резолюции.

Огромным большинством она была отвергнута. Едва пятая часть собрания голосовала за нее.

Решение это было встречено громом рукоплесканий, но и шиканьем из группы, баллотировавшей за нее.

Керенский, со своей свитой, тотчас же покинул демонстративно собрание. Точно группа гастролеров, отбивших свой номер. Они отправились гастролить дальше.

Анатолий Кремлев остался.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Несколько позднее, при праздновании, в том же 1916-м году, пятидесятилетнего юбилея Петроградской присяжной адвокатуры, я воспользовался вновь случаем, чтобы удержать сословие от, не соответствующих его задачам, политических выступлений.

В тот же самый день было молебствие и торжественное заседание в здании судебных установлений, так как этот день был юбилейным днем и для Петроградского Окружного Суда и Судебной Палаты. В качестве Председателя Совета Присяжных Поверенных, я получил приглашение на это официальное торжество, также как и старейший присяжный поверенный Д. В. Стасов, который в тот же день был сам юбиларом.

Утром, еще до молебствия в здании суда, я, во главе нашей адвокатской корпорации, тепло и сердечно приветствовал нашего старейшего, в течение всех пятидесяти лет, до глубокой старости чистого и преданного сословным интересам «старика» нашей, по выражению покойного В. Д. Спасовича, «вольной громады».

От товарищей по Совету я вручил ему «почетный» золотой значок присяжного поверенного, который прикрепил к петлице его фрака, когда мы вместе отправились в Суд на молебствие.

На торжественном соединенном заседании Судебной Палаты и Окружного Суда присутствовали многие члены Государственного Совета, сенаторы и недавно назначенный, новый Министр Юстиции, Хвостов.

Ораторами выступали сенаторы Н. Н. Шрейбер, А. Ф. Кони, вновь назначенный прокурор Судебной Палаты В. Р. Завадский и председатель Окружного Суда Рейнбот.

Последний, с льстиво-кокетливыми ужимками по адресу министра, был верноподданно-либерально слащав и производил впечатление русофильствующего и даже славянофильствующего, иноземца. Остальные были каждый на своем месте. Н. Н. Шрейбер — документально холоден и точен, А. Ф. Кони, как всегда, красноречив до болтливости. В. Р. Завадский, сохраняя достоинство в простоте изложения.

В общем, все было гладко, но лишено интереса. Подъему не чувствовалось. Походило не на праздник «Судебных Уставов» и, когда-то, «нового суда», а скорее на похороны живого мертвеца.

Не мудрено. Столько вивисекции над ними за это время (пятьдесят лет) Муравьевы и Щегловитовы проделали, что радоваться решительно было нечему.

Вечером должно было состояться также торжественное соединенное собрание присяжных поверенных и их помощников.

Я переговорил заранее с прокурором Судебной Палаты, который заведывал судебным зданием, и с Председателем Окружного Суда и заручился подходящим для многочленного собрания помещением. Мне было обещано самое обширное зало уголовных заседаний, в котором за текущие пятьдесят лет прошли все выдающиеся, сенсационные процессы. В Совете был поднят вопрос: приглашать ли на это торжество представителей судебной магистратуры и прокуратуры?

Почти единодушно он был решен отрицательно. Порешили никого не приглашать, но принять каждого, кто пожелал бы принести свое поздравление сословию и выразил бы желание придти на собрание.

По поводу обещанного мне помещения накануне произошло некоторое замешательство. От имени прокурора Судебной Палаты мне несколько раз звонил Рейнбот и озабоченно спрашивал меня по телефону: могу ли я поручиться, что наше собрание не перейдет в политический митинг, с соответствующей тревожному моменту, «нежелательной» резолюцией?

Я отвечал, что исключаю возможность такого неуместного, для данного случая, инцидента.

Собрание оказалось настолько людным, что и на хорах и в самом зале негде было упасть яблоку.

Наиболее ярые «левые» отсутствовали. Керенского не было. Если не ошибаюсь, как раз в это время он был в Гельсингфорсе, где ему оперировали больную почку и куда, Совет препроводил ему денежное пособие.

При появлении белого как лунь Д. В. Стасова, с новым золотым значком в петлице, он в течение нескольких минут сделался предметом дружных, сердечных оваций. Живой прообраз всей полувековой жизни сословия, разросшегося в такую компактную громаду, был дорог всем.

Провинциальные Советы присяжных поверенных, не исключая наиболее отдаленных: Иркутского, Томского и Тифлисского, прислали своих представителей, в лице своих председателей. Они выступили с приветственными речами по адресу Петроградской присяжной адвокатуры, положившей начало этически-сословному укладу, послужившему образцом для всей русской адвокатуры.

От магистратуры и прокуратуры приветствия не было. Антагонизм



между правительственными органами и присяжной адвокатурой лишний раз был демонстративно подчеркнут.

По окончании приветствия я произнес большую программную речь, в которой, перечислив все трудные моменты в жизни русской адвокатуры, оттенил ее общественные заслуги и выставил девизом «мораль и право», которому она, при всех условиях жизни, должна неизменно служить. Призвание адвоката я ставил выше политики, выше преходящих общественных настроений и течений, выше политических форм общежития. Адвокатура может покончить свое бытие, (существование) лишь оказавшись лишнею среди блаженно-мирного альтруизма. всех человеческих душ.

Последовало еще множество речей.

В таком же духе говорили все представители провинциальных Советов, что подчеркивало отсутствие сепаратизма по округам, общность идеалов и солидарность интересов «всероссийской» адвокатуры.

Отовсюду звучала чистая русская речь и мне, невольно, приходили на память слова Тургенева о том, что русский язык, великий по своему богатству и силе, сам по себе уже показатель духовной мощи и светлого будущего России.

Несмотря на значительное возбуждение и страстность некоторых речей, собрание не вышло из сферы задушевной, праздничной торжественности и не превратилось в политический митинг. Доминирующей идеей всех говоривших было признание за русской адвокатурой элемента, объединяющего культурные силы России.

С чувством глубокого удовлетворения, при шумных овациях по адресу президиума Собрания и его почетного председателя Д. В. Стасова, далеко за полночь, я закрыл заседание.

Когда, расходясь группами по домам мы очутились на свежем воздухе, дышалось легко, всею грудью.

Созвездия на чистом небе не казались далекими, непонятными иероглифами недоступной нам вечности, а, наоборот, яркими знаменами той высшей гармонии, которая должна же когда-нибудь добраться и до наших мятущихся грешных душ.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Посещая, от времени до времени, наш «адвокатский» лазарет, помещавшийся в концертном зале Дервиза, на Васильевском острове, я не только убеждался в прекрасном уходе за больными и ранеными солдатами, но также и в том, что, благодаря прекрасной организации и заведенным там порядкам, в нем нет места для какой-либо партийной пропаганды.

Им заведывала особая выборная комиссия из испытанных, уважаемых членов нашего Совета.

Что касается нашего Санитарного отряда, все время работавшего на фронте, то о нем до Совета доходили, хотя только случайные, но, всегда очень лестные отзывы. Военные, соприкасавшиеся с его деятельностью, особенно восторгались его самоотверженной преданностью долгу во время наших гибельных отступлений.

Изредка, на короткий срок, приезжал в Петроград» Переверзев. Я собирал в этих случаях общие собрания и он делал нам живой и образный доклад о деятельности отряда за истекший период. Мы встречали и провожали его всегда шумными овациями, и рады были глядеть на его

загорелое, закаленное всякими ветрами и непогодами лицо, на его бравую военную выправку и подвижную, сухощавую фигуру в военно-походной форме. Ленточка, заработанного им Станислава, уже красовалась в его петлице. По всему было видно, что он жизнерадостно и стремительно весь поглощен своим делом.

В свою последнюю, такую, побывку в Петроград он усиленно приглашал меня побывать «на фронте», чтобы оказать этим, от имени сословия, внимание чинам его отряда.

Я обещал, и между нами было решено, что я воспользуюсь ближайшим рождественским судебным вакантом, чтобы дней на десять урваться из Петрограда.

При участии своего ближайшего сотрудника в этом деле, Прис. Повер. М. Г. Мандельштама, который пожелал сопровождать меня в этой поездке, была собрана среди товарищей, добровольной подпиской, порядочная сумма для приобретения рождественских подарков не только для отряда, но и для двух полков, при которых, ближайшим образом, состоял в данное время наш отряд.

Все необходимое, в виду предстоящей моей поездки, было устроено и налажено милейшим Максимом Григорьевичем, окончательно приписавшимся ко мне в адъютанты.

Он живо добыл все «документы», с необходимыми разрешениями военного начальства, без чего нельзя было проникнуть на фронт.

Сам, обрядившись в военно-походную форму «уполномоченного» и нацепив на себя даже шашку кавалерийского образца, Мандельштам настоял, чтобы и я преобразился «под военного», без чего, будто бы, не пускают на фронт. Он же доставил мне портного-специалиста этого дела, который и обрядил меня с ног до головы.

Высокие «кавказские» сапоги, соответствующие невыразимые и тужурку цвета хаки, с майорскими фантастическими погонами, равно, как суконную в талию шубу на лисьем меху и из серой мерлушки папаху, с офицерской кокардой, я согласился надеть, но от шашки решительно отказался, находя, что и без этой стеснительной подробности, которую я забуду на первой же остановке, общий мой вид достаточно воинственен.

И действительно, и на железнодорожных станциях, и по пути к траншеям и везде на фронте солдатики усердно мне «козыряли», в добросовестном заблуждении относительно моего чина. Я забывал отдавать им честь «по форме», на чем очень настаивал «мой адъютант», но за то прелюбезно с ними раскланивался.

Подарки наши, запакованные в многих тюках и состоявшие, главным образом, в теплом белье, мыле, сахаре, чае, махорке и некоторых сладях, а для офицеров в папиросах, шоколаде и туалетных снадобьях, были отправлены несколько ранее на железнодорожную станцию, с которой начиналось наше отправление на фронт.

Отъехали мы с Варшавского вокзала. Добыли себе маленькое купе 2-го класса в вечернем поезде, который был переполнен. В 3-м классе все было сплошь запружено солдатами, отправлявшимися на фронт. Первого класса вовсе не было.

Мой «адъютант» оказался неизменно милым и запасливым спутником. Все у него нашлось: и закусочка в должном количестве, и горячий чаек и даже рюмка доброго винца.

Большую корзину, с такою же отборною провизиюю, он еще дома перевязал бечевкой и припечатал ее своею, именною печатью, чтобы в дороге не соблазниться и не дотрагиваться до нее, так как она

предназначалась для самого «начальника отряда» П. Н. Переверзева и его ближайших сотрудников.

Не скучно, а наоборот, как-то радостно, было ехать туда, «на фронт», где кровь лилась и были мертвые, но где чуялось именно что-то настоящее, живое, не умирающее. Мертвенно-тусклым казался, наоборот, покидаемый тыл, ожиревающий в тупой праздности или алчной наживе.

Отряд наш, по наведенным справкам, должен был сейчас находиться вправо от Молодечно, ближе к северному фронту. Маршрут наш был в ведении моего «адъютанта» и я вполне полагался на него.

В пути дежурный по поезду офицер осматривал наши документы. Обозрев их, он любезно представился и проехал с нами до следующей остановки. Только к вечеру следующего дня мы высадились на какой-то узловой станции, запруженной уезжающими и приезжающими. Среди последних было немало дам, офицерских жен, стремившихся провести праздники с мужьями.

Отправленный ранее багаж, состоявший из множества тюков и ящиков, мы нашли аккуратно сложенным в багажном отделении; при нем был на лицо и наш «Советский рассыльный» Андрей, также обряженный по-военному. Он был послан нами сопровождать «подарки», чтобы блюсти их, как зеницу своего ока. Бывали случаи, что багаж «засылался» и попадал не туда куда предназначался. Горделиво-польщенный Андрей, мы знали, блестяще выполнит, трогавшую его сердце, миссию.

Оставив меня благодушествовать за стаканом чая в «чистом» буфете, где с трудом нашлось для меня место, мой незаменимый «адъютант», пошлепывая себя на ходу не обвыкшей на его поясе шашкой, отправился на рекогносцировку. Так как никто из отряда, несмотря на посланную нами телеграмму, на станции нас не встретил, надо было измыслить способ дальнейшего нашего следования и доставления до места подарков. Андрей также пошел справляться, где можно найти три, четыре подводы под кладь.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Прошел с добрый час и уже совсем стемнело, когда появился, наконец, М. Г. Мандельштам и не один, а в сопровождении приветливо, еще издали, закивавшей мне, дамы. Оказалось, что это супруга местного «коменданта тыла», которая любезно приглашала нас к себе «провести вечер» и переночевать в комендантском доме, так как ранее утра нельзя получить лошадей. У подъезда вокзала нас ждали двое узковатых саней. В одни «адъютант» усадил меня с комендантшей, а вторые задержал для себя, желая ранее обо всем условиться с Андреем и отпустить ему нужный аванс на его пропитание, ночлег и для найма на утро достаточного числа подвод.

Проехав довольно людным и оживленным, в качестве ближайшего к фронтовому тылу, поселком, наши сани остановились у приземистого, широко раскинувшегося деревянного строения. Тут помещались и Комендантское Управление и квартира коменданта и пристанище для проезжающих, на фронт и с фронта, офицеров.

Жена коменданта, не перестававшая любезно занимать меня всю дорогу разговором, объявила, что у нее как раз сегодня, в канун Рождества, елка, и что она рада иметь нас своими гостями. Она сообщила, что у нее будут «земские и городские», т. е. работающие от земских и городских союзов по продовольствию фронта.

Муж ее «комендант», полковник запаса, был также радушен, как и жена и, раньше всего, проводил меня в «офицерскую комнату», где я мог бы обогреться, распаковать и выбрать себе постель для ночлега. Вскоре подъехал мой «адъютант» и мы, осмотревшись, стали приводить себя в порядок после дороги.

Комната, в которой нам предстояло провести ночь, обширная, но с низким потолком, была рассчитана человек на пятнадцать; по крайней мере, там стояло именно столько узких железных кроватей, под серыми байковыми одеялами с тощей и жесткой подушкой на каждой.

Четыре или пять, кроватей были уже заняты, остальные оставались свободными.

Сняв свою военную амуницию и возложив бережно свою шашку на одну из пустовавших постелей, мой «адъютант» очутился в мягких чужаках и вязанной синей куртке, и в таком виде, был очень похож не на бравого военного, а на добродушного Максима Григорьевича, умеющего удачно изображать «чухонца» с трубкой, мастерски подражая его говору. Это был его артистический конек, которым он любил забавлять в субботние семейные вечера публику нашего адвокатского клуба, которого он состоял весьма деятельным старшиной.

И на елке у коменданта этот «номер», наряду с хоровым пением, в котором отличались две девицы из земского склада и двое молодых из городского союза и декламацией почтово-телеграфного чиновника, имел решительный успех.

Утомленный дорогой, я рано отретировался.

Придя в ночлежную комнату, я застал там пять офицеров, различного оружия и возраста. Раскланявшись с ними, я скоро ориентировался и, раньше чем улечься спать, был знаком уже с каждым из них.

Один, лежавший пластом на кровати, капитан-пехотинец, с выстриженной под гребенку круглой головой и закинутыми над головой руками, особенно заинтересовал меня. Он сильно кашлял, и лицо его часто подергивалось нервной гримасой. По временам он стонал, и, оттопыривая верхнюю губу, с щетинистыми, рыжеватыми усами, как-то свистяще фыркал.

Я предложил ему, как и остальным, стаканчик, имевшейся у нас в запасе, мадеры, и мы разговорились. На мой вопрос: здоров ли он, он ответил сперва только отрывисто: «будешь с этими чертями здоров, как же!», но потом, мало-помалу, успокоился и поведал о себе:

Долгое время он бессменно просидел в окопах, участвовал в боях у Молодечно и «ничего, даже поцарапан не был, а Владимира с мечами заслужил». Но, вот, вздумалось начальству послать его «на отдых» в Москву, семейство повидать, а кстати, попутно и служебное поручение исполнить: вести обратно на фронт партию изловленных беглых с фронта дезертиров, которых набрали с добрую роту.

— Измучился я с ними каторжниками, вот как! — фигурально пояснял капитан, проведя пальцем по горлу. — Их каналов в Сибирь в пору, да пороть и пороть ... А тут нянчайся, на фронт их доставляй. А на что они здесь? Паршивая овца все стадо испортить может! Расстрелять их только впору ... Намучился я с ними, здоровье потерял, а семи человек все-таки не досчитался ...

Получайте! Под суд за них проклятых еще угодишь! А что поделать, когда на всю партию шесть человек конвоя отпущено. Их пулеметами в спину гнать бы надо, а, что я поделаю с своим револьвером. Нет хуже вести этих чертей железной дорогой. На ночь вагоны запирали, а что

толку, окна без решеток. Да и через отхожую дыру должно быть пролезли: одну совсем развороченную нашли... Получайте, радуйтесь, составляйте ведомость о недостающих!.. Под суд, так под суд!..

И злосчастный капитан, стремительно откинувшись навзничь, снова закинул руки за голову и верхняя его губа снова стала оттопыриваться от свистящего не то кашля, не то фырканья.

Другой очень молодой сапер, только что выпущенный из училища, в великолепно-лакированных высоких сапогах, которыми видимо все еще любовался, говоривший с финским акцентом, в противоположность взьерошенному капитану, был одет во все новое с иголки и казался довольным и судьбою и самим собою.

Над ним добродушно подтрунивал его сосед по кровати, артиллеристский капитан, командированный куда-то в тыл для приемки снарядов.

— Вы бы завтра переоделись в старенькое... Да старенького-то у вас пойдти ничего не найдется. . . Ведь завтра же, с места пошлют окопы рыть, да колючку навязывать ... Лакировочка то мигом сойдет, а только, — ох, как жалко! — сапожки важнейшие, чай 60, а то и все 70, серебрянников в эконолке плачены.

Двое остальных были прапорщики, из призванных. Они выглядели мрачно и возмущались тем, что комендант держит их «в этой дыре» уже третий день, лошадей не дает и толком не знает где та «часть», в которую их надо доставить. Никто из этих офицеров, к моему удивлению, на комендантскую елку приглашен не был. Один из них, когда зашел об этом разговор, заметил: «с нами тут не церемонятся. Только разные «уполномоченные» и «чины тыла» у них в фаворе, всегда первые гости!..

Другой к этому добавил: «и правильно! От них и угощенье и веселье... А с нашего брата какой им толк, возня одна. Мало ли тут нас перебывает!»

В это время елочный пир у коменданта был еще в полном разгаре. То и дело до нас доносились то пение, то взрывы дружного хохота.

На новом месте спится плохо. Я слышал, как поздно вато вернулся Максим Григорьевич на покой. Заметив, что я еще не сплю, он тихонько добрался до меня, присел на мою постель и добродушно-оживленным шепотом объявил, что на утро нам будет отличная тройка «уполномоченного ближайшего земского питательного пункта».

Я пошутил: «должно быть «чухонцем» очень угодили?» — Да, посмеялись таки... и вам уважение пожелали оказать. Уполномоченный то, оказалось, присяжный поверенный, тамбовский... Он пришел позднее, очень жалел, что вас уже не застал. Говорить знает вас... В Тамбове в суде выступали?..

Я закивал головой, желая этим сказать: в каком только суде я не выступал!..

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

К утру все заспались, так как часов около двух ночи вспыхнуло огромное зарево пожара и, через все наши пять окон, совершенно осветило комнату. Едва уснув, пришлось вскочить.

Молодой сапер долго, спросонья, натягивал на ноги свои лакированные сапоги, и пошел «на пожар». Горел неподалеку, у опушки леса, какой-то «вещевой склад». Часам к четырем только, когда склад благополучно сгорел до основания, все опять угомонились.

Когда я, наконец, проснулся, мой «адъютанта» тотчас же доложил, что все обстоит благополучно: Андрей с подарками двинулся уже вперед, со своим караваном, а для нас готова тройка «уполномоченного».

Комендантша прислала нам горячего кофе со сливками, с калачом и маслом. Офицеры сами заваривали себе жидкий чай в металлическом чайнике, и пили его с сахаром «в прикуску». Мне стыдно было нашего роскошества и мы старались угостить «господ офицеров» всем, что у нас было при себе.

Двинулись в путь не раньше одиннадцати часов. Тройка была сытая, добрая и розвальни-сани, по сиденью, были щегольски покрыты ковром. На облучке «за кучера» сидел солдатик в коротком ярко-желтом тулупчике и высоких валенках, с солдатской мохнатой папахой на голове.

В Комендантском Управлении лишь весьма гадательно знали где в данную минуту «квартирует» наш отряд и как до него надо добраться.

С нашей телеграммой Переверзеву, очевидно, вышла или путаница, или задержка, так как из отряда, вопреки ожиданию, никто нас не встретил.

Комендант, и даже не столько он, сколько его жена, комендантша, много наговаривали нам про предстоящий путь. Я решил, то «адъютант» все сообразил и запомнил, поняв пока лишь одно: надо ехать все прямо, верст десять до «первого путевого коменданта» и «заставы», а там уж верно скажут где именно расположены те два полка, при которых состоит сейчас наш «адвокатский» отряд.

По гадательным сведениям комендантши, отряд наш расположен в одной из деревушек, позади «вторых окоп», отстоящих отсюда верстах в тридцати.

Двинулись не густым леском, частично кое-где вырубленным, сплошь осыпанным свежесвыпавшим снегом. Дорога имела вид вновь проложенной, в меру укатанной, но не изрытой выбоинами. Морозило умеренно, воздух был дивный, дышалось легко и ехать было одно наслаждение.

Работ по дороге нигде не приходилось наблюдать, так как был первый день Рождества, но по пути встречались и проезжие и пешеходы, то кучками, то в одиночку. «Нижний чин» шествовал по образу пешего хождения и, при встречах, усердно «kozyрял» принимая нас за «начальство». В санях же ехали офицеры, «уполномоченные», иногда, и дамы с ними.

У первой «заставы» в селе, где на одном из деревянных домишек красовалась доска с надписью: «путевой комендант», мы остановились. Здесь был уже Андрей со своим караваном, состоявшим из четырех загруженных саней.

Куда надо было «сворачивать» он тут толком не мог пока добиться и поджидал нас.

«Адъютант» направился было к коменданту, но тот «отдыхал», и пришлось удовольствоваться писарем.

Расспрашивали и проходящих солдатиков.

Кое-как, наконец, выяснилось, что надо сперва добраться до «запасного парка дивизии 6-го Сибирского полка», полка, который особенно близок нашему отряду. Там уже «верно покажут!»

Добраться ж до «парка» можно так: сперва свернуть вправо и ехать все прямо. Когда покажется лес погуще свернуть влево и ехать по его окраине, пока не «попадется» просека, как будет просека в нее и свернуть. Там уже недалеко.

Сколько именно до «парка» верст — «неизвестно», а пожалуй верст с десяток наберется.

С этими указаниями мы двинулись по дороге уже более первобытной, но, благодаря санному пути, все же довольно сносной. Ехали ни резво, ни тихо, нигде не встречая жилья. Подвигались вперед довольно неуверенно, встречных попадалось, мало и не у кого было спросить: точно ли это дорога к «лесу погуще?»

Наконец, нагнали какого-то верхового солдатика, ехавшего не спеша на буром вихрастом «сибирском» иноходце, с двумя мешками, перекинутыми у задней луки его казачьего седла. Спросили. Оказался самым дорогим для нас человеком. Он был как раз из «парковых» и возвращался с провизией из земского склада для местной «парковой лавочки».

Про «адвокатский отряд» он ничего не слышал, но к своему «парку» знал дорогу отлично.

Доехав с ним до «леса погуще», где он должен был тропой выехать напрямик к парку, нам предстояло ехать вдоль опушки, пока не попадется на глаза «столбик» с заметкой. Тут надо было свернуть в самый лес и лесною дорогой, ведущей к парку, проехать с версту, «а то и больше».

Поблагодарив папироской, причем угостили и нашего безмолвного возницу и словоохотливого всадника, мы двинулись разными путями: он напрямик в лес, мы в объезд по его опушке.

Ехали меньше часа и увидели невысокий столбик с белой треугольной отметиной. Въехали в лес, и ныряли по сугробам свеженанесенного снега еще с добрых полчаса.

Но, вот, как-то совсем неожиданно, в глубине леса нам открылась целая усадьба, с жилищами, амбарами, навесами и конюшнями, сколоченными из свежего леса, очевидно, тут же на месте заготовленного.

Это и был «парк» той дивизии, к которой был приписан и наш отряд.

Подъехали к крылечку аккуратного, как игрушечка домика командира парка. Денщик объявил, что подполковник «так что отдыхают», а что капитан, его помощник, в офицерской столовой, которая «через два дома».

Мы высадились из саней и пешком, провожаемые денщиком, дошли до столовой.

Капитана здесь не оказалось. Он, только что, пошел в обход парка. Но расторопный нижний чин, приставленный к столовой, встретил нас радушно, помог снять шубы и проводил в столовую. Усадив нас за узкий, по размерам комнаты, обеденный стол, он предложил нам пообедать.

Потирая прозябшие руки мы бесшумно возликовали, так как порядочно проголодались. Мой неоценимый «адъютант» занялся раскупоркой бутылки крепкого вина, бывшей в нашем кулке, вместе с кое-какой закуской. Обед подали очень вкусный. Он состоял из суточных щей с куском мяса, поросенка с кашей и блинчиков с вареньем.

Когда мы уже кончали обед и пили кофе, в столовую пришел сперва капитан, помощник командира парка, а вскоре и сам командир. Оба очень приветливые и обязательные и, как мы вскоре убедились, и толковые. Они были вполне осведомлены относительно местонахождения нашего отряда, были лично знакомы с Переверзевым и отзывались о нем по-приятельски. По их словам Переверзев, в качестве начальника отряда и его два помощника, студенты-медики, просто, прославились своею, энергией, находчивостью и бесстрашием во время последних наших

отступлений, когда отряду приходилось все время следовать, в арьергарде, чтобы подбирать раненых и слабых.

Теперь отряд, сравнительно на покое и приютился, более или менее, оседло в небольшой деревушке позади второй линии траншей. В солдатской среде отряд весьма популярен и когда он двигается на позиции в стройном порядке, с Переверзевым, верхом на лошади, во главе, солдаты, провожая его любовно глазами, говорят: «это «наш адвокат» за провизией едет, стало быть, ночью жарко было!»

Командир, обнадежив нас обещанием дать для дальнейшего нашего путешествия свою тройку, предложил нам обзреть его «хозяйство», пройти с ним в обход по всему парку, чтобы иметь представление о его организации и назначении.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Ряд построек, пересеченных улочками и переулками, представлялся целою усадьбою, незаметно приютившеюся под покровом густого леса. Каждая постройка имела свое особое назначение: домики-землянки для парковой прислуги и рабочих, навесы с коновязями для лошадей, загоны для убойного скота и для коров и, затем, разные мастерские — кузнечные, столярные, бондарная, ружейная, сапожная, портняжная и т. д.

Все, что должно было чиниться и ремонтироваться для дивизии, доставлялось сюда из соответствующих войсковых частей, и возвращалось обратно в исправном и обновленном виде. Здесь же заново сооружались повозки, сани, колеса, платформы и т. п., из леса, который тут же заранее был заготовлен. На окраине усадьбы уютился небольшой лазаретный барак и аптечка. Вблизи их была и мелочная лавочка, где можно было достать леденцов, спичек, папирос и кое-какую мелочь.

Все это содержалось в большой исправности, и на всем лежала печать продуманной целесообразности. Командир парка производил впечатление человека интеллигентного, с инициативой и деловым смыслом.

По поводу того, что мы застали его «отдыхающим», он как бы оправдываясь, объяснил, что он всегда с пяти часов утра на ногах, так как работы уже начинаются в шесть, а к вечеру то, что готово, грузится на подводы и, под прикрытием ночи, направляется в части.

Только среди дня, когда шабашуют рабочие для послеобеденного часового отдыха, удается и ему отдохнуть.

По поводу того, что никто из отряда нас не встретил на железнодорожной станции, подполковник сказал, что третьего дня ночью на позиции было «неспокойно» и отряд, вероятно, «был на работе».

Когда мы уже заканчивали наш обход, я обратил внимание на то, что вокруг конюшен и загонов раскладывались костры из сухого валежника, древесной коры и прутьев. Такие же костры были раскинуты и вокруг всей парковой усадьбы. В своей наивности я решил, что это для тепла, на случай если станет крепчать мороз. Подполковник, усмехнувшись, меня просветил:

— Нет, это на случай газовой атаки.

— Вот оно что! Да разве сюда могут достигать газы?

— В лучшем виде! — поспешил пояснить капитан, помощник командира, примкнувши к нашей компании, когда все костры, под его наблюдением были разложены. — Напрямик тут, ведь, всего верст восемь



от передовой линии. Она с трех сторон загибом идет за нашим лесом. Если ветер попутный и не оглянешься, как носом почувешь... Людям ничего, скомандуешь: «морды; в мешки» (т. е. маски надеть) и готово. А вот лошадей, скотину и всякую живность только кострами и спасаем. Сегодня тянет ветер как раз оттуда... А они, дьяволы, любят шутки шутить, в Христов праздник, того и гляди, сюрприз поднесут.

В наших (моей и моего «адъютанта») цивилизных душах, очевидно, шевельнулось беспокойство, так как мы выразительно переглянулись. Командир парка, точно угадав наше затаенное беспокойство, поспешил тут же прибавить: «мы вас масками снабдим, без них никого к позициям не отпускаем».

Тем временем стало смеркаться и среди лесной тишины вдруг прозвучал отдельный орудийный выстрел, через минуту еще и еще...

— Эге, — мелькнуло в моей голове, — да мы и взаправду на войну попали... Вот великолепно, недаром, значит, ехали.

Капитан, по поводу выстрелов, которые скоро прекратились, заметил:

— Это он батарею, которая его вчера хорошо угостила, нащупывает. Жива ли, мол, голубушка? А голубушка давно уже в другом месте притаилась и до поры помалкивает... В такой великий праздник грешно стрелять.

Когда капитан произносил эти слова на лесной тропке вдали, точно из-под земли вырос лихо скачущей всадник, за ним другой, подальше и третий ...

— Уж не немцы ли прорвали фронт? — Нелепо быстро мелькнуло в голове.

Поглядев в сторону все приближавшихся всадников, капитан вдруг весело воскликнул: — Ба, да это Павел Николаевич (имя Переверзева) Молодчина, сообразил где вас перехватить. С ним Григорий Аркадьевич (имя его ближайшего сотрудника, казначея и секретаря отряда) и вестовой!.. По форме, парадом начальство выехал встретить.

Через минуту мы уже обнимались с Переверзевым, который, лихим ездоком, почти на ходу спрыгнул с великолепной по сухости и ладности статей, золотисто-рыжей полукровки. Его спутник, Григорий Аркадьевич, сидевший браво и уверенно в седле, ступивши на землю, оказался хромоножкой. Это, однако, не препятствовало ни точности, ни живости его движений. Чрезвычайно симпатичный и милый, по первому же впечатлению, он, как я вскоре в этом убедился, был незаменимым работником и душою внутренних распорядков в отряде. Переверзев считал его своею правою рукою и не мог достаточно нахвалиться его неутомимой энергией.

Подполковник пригласил нас всех в столовую к чаю, здесь мы общими стараниями устроили праздничный пир. Вино, закуски, кое-какие сласти у нас нашлись, а «очищенная», оставшийся от обеда поросенок, свежее масло и яичница, оказались уже на столе.

Дружно и оживленно прошел этот час, пока, тем временем, нам готовили «парковую» тройку для дальнейшего следования.

Подъехали и наши «подарки» с Андреем. На одноконных санях караван подвигался медленно. Решено было, что он здесь заночует и только на утро, с провожатым от парка, двинется дальше.

Отъехали мы из гостеприимной лесной усадьбы, когда уже совсем стемнело, сохраняя о ней, о ее порядках и ее «хозяевах» самое отрадное воспоминание. П. Н. Переверзев отозвался о командире парка с большим уважением, говоря, что он зорко следит за тем, в чем именно может

нуждаться в данную, минуту та, или другая войсковая часть.

До места расположения отряда предстояло проехать верст пятнадцать. Дорога была лесная, путанная, с частыми поворотами и объездами оврагов, канав и заграждений. Впереди, указывая дорогу, скакал Переверзев, держась лихо и красиво в седле и выглядел истым кавалеристом. За нашими санями поспевали двое других всадников.

Не успели мы отъехать и версты, как поднялась новая орудийная пальба, на этот раз интенсивная, частая. Взлетали также ракеты и освещали, от времени до времени, как зарницы молнии, темневшую даль, задернутую сплошь туманною дымкою.

Мне, почему-то, вспомнилось «про газы». Мы хватились масок, — а их то и нет! Но, оказалось, что маски налицо, но запрятаны в особый деревянный ящик под передним сиденьем. В пути они не понадобились, но потом мы имели их всегда при себе, их разглядывали и учились надевать. Они были русского изделия из непроницаемого холста с неуклюжими, длинными жестяными трубками, предназначенными для дыхания. Видели мы и одну немецкую маску, снятую, с убитого. Она была более целесообразного и аккуратного фасона.

Впродолжение всего нашего пути канонада не прекращалась. Кто именно стрелял и в каком направлении мы не давали себе отчета, но было ясно только, что мы едем прямо под выстрелы, так как они раздавались все громче и громче.

Выехали из леса, свернули влево и уже мчались по его опушке. Тут не только слышали выстрелы, но и видели, как, более, или менее, еще далеко, вправо от нас рвались, вспыхивая, снаряды и как густые дымчатые столбы, точно фонтаны, поднимались от земли. К тому времени возшла луна, и далеко, отчетливо было видно.

Переехав какой-то бревенчатый мосток въехали в деревенскую улицу. У одной из первых же «хибарок» (деревянных крестьянских домов), на коньки крыши которой развивался белый флаг с красным крестом, круто остановились.

Прикрепленная на фасаде, этой «хибарки» доска гласила:  
«Санитарный отряд Петроградской Присяжной Адвокатуры».

— Вот мы и дома, — весело воскликнул Переверзев, спрыгивая с коня. — Милости просим, не побрезгайте!

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

«Хибарка», в которую мы вошли по трем ступенькам крытого крылечка, состояла, в сущности, только из одной обитаемой комнаты, с огромной русской печкой в правом от входа углу, с тремя небольшими окнами, выходящими в три разные стороны. Загородка против самой печки отделяла от комнаты четвертое окно, так что получилось нечто вроде узенькой прихожей, и вместе буфетной, и уборной. Тут на полке, стоял самовар и разная посуда, а на узкой скамье внизу были щетки для чистки платья и сапог, и красовался большой жестяной таз с рукомойником и ведро с всегда свежей водой. Вторая половина хибарки, через которую мы только прошли раньше, чем войти в жилую ее часть, состояла из довольно обширного, неотопливаемого помещения, имевшего выход и во двор и теперь пустовавшего. По крестьянству это, вероятно, было зимнее убежище для домашней скотины.

Сама комната, где мы втроем должны были расположиться, обвешанная простыми ковриками и расшитыми полотенцами, казалась

уютной и привлекательной. В ней были приготовлены три постели. Постоянная, Переверзева, была походная, узкая складная, с легким матрасиком; ее легко было собрать и унести с собой.

Меня и Мандельштама устроили, хотя и временно, но более комфортабельно: на широких носилках, с мягкими, откуда-то добытыми тюфяками.

Своему «адъютанту» я уступил место поближе к печке, которую к нашему приезду хорошо протопили. А Переверзев и я заняли «углы» в нашей «ночлежке», как именовал сам Павел Николаевич свой комфортабельный апартамент.

Раньше чем расположиться спать Переверзев сводил нас в другую «хибарку», где такая же комната, как его, была приспособлена под столовую.

Здесь было, воистину, царство Григория Аркадьевича, так как он заведывал столовой и тут же за занавеской, была его канцелярия, где на импровизированном письменном столе лежали расходные тетради, ведомости и счета.

Познакомиться с приезжими собрались в столовую все «чины отряда». Кроме Григория Аркадьевича тут был еще молодой студент-медик, исполнявший фельдшерские обязанности и женщина-врач, очень моложавого вида, худенькая, застенчивая и симпатичная девушка и три молодых офицера той роты, которая только вчера сменилась из окопов и разместились теперь в той же деревушке, где основался наш отряд.

Офицеры (поручик и два прапорщика) нахваливали мне Переверзева. Они рассказали мне, как он помог им здесь по-людски устроиться, не только им офицерам, но и людям, соорудив для последних ряд теплых землянок. Он же сладил отличную баню, с отделением для быстрой стирки солдатского белья.

Офицеры прославляли также очень нашу докторшу, подчеркивая, что она ничем не брезгает, сама моет ноги солдату, раньше чем сделать ему хотя бы пустяжную операцию. Вообще, никому, никогда, в своей помощи не отказывает. Григория Аркадьевича иначе никто не аттестовал, как «благодетелем»: по всему было видно, что он пользуется всеми симпатиями.

И Переверзев, и докторша и Григорий Аркадьевич перебивали своих хвалителей, конфузились, поминутно повторяли: «да бросьте вы это»! Но я видел, что глаза докторши по временам готовы были брызнуть слезами, да и у меня самого какой-то блаженный туман невольно завлакивал зрение.

Среди вдруг наступившей тишины, в эту скромную трапезную, за этот узкий стол, — начинало чудиться мне, — вдруг войдет и сядет сам Христос. И ничего сверхъестественного я в этом не увижу.

«Бум, бум»! — неожиданно посыпались, прекратившиеся было на время, выстрелы, и были они здесь настолько ощутимы, что стекла дрожали в шатких окнах, точно их трясло в лихорадки.

— Вот оно, «чудо 20-го века» в Рождество Христово!... сообразил я и разом очнулся.

На выстрелы, кроме меня, по-видимому, никто уже не обращал внимания. Я поинтересовался: отвечают ли наши и к чему ведет подобная стрельба?

— Как случится, — пояснил мне поручик, — сегодня наши отвечать не станут. Надо же хоть пристыдить их нашим Рождеством. Они обстреливают по ночам, главным образом, дороги, ведущие с тыла к

нашим позициям, так как знают, что по ночам подвозят и снаряды и всякое нужное добро. Но такая стрельба большой беды натворить не может: будет убитых или раненых, пять, шесть, за неделю, либо людей, либо лошадей, а то и тех и других.

Дальше, из завязавшегося мирного разговора о военных операциях данного района, я понял, что серьезных активных действий, в виду стоящих морозов, пожалуй, не предвидится.

— Стоим друг против друга и стараемся под шумок гадить друг другу..., — стал пояснять мне поручик. — Допекаем больше ночными разведками. Посылаем разведчиков в белых балахонах, — по снегу не различишь! Они умудряются подползать на животах к самым заграждениям, иногда режут даже проволоку. Излавливаем «языков». Часто поднимаем у них переполох и жарим из орудий вовсю. Третьего дня, под вечер, наш левый редут наделал им много хлопот, очень цельно, в самый центр попадал. Вообразили, что атаку готовим, повысыпали из траншей, заметались, а их тут из пулеметов и угостили... На утро тела убрали.

— А на прошлой неделе я ходил в ночную разведку с шестью охотниками, так мы трех немцев захватили и живыми доставили... — скорфуженно-хвастливо вставил прапорщик, который был помоложе и при этом густо покраснел.

Другой, бородатый, постарше, добродушно-иронически заметил:

— Рассказывай ... просто перебежчики!

— Хороши перебежчики, — настаивал тот, — с ружьями... Один нацелился чуть не в упор... Хорошо, что во время Панкратов сзади вынырнул, ружье у него выбил, чуть руку ему пополам не перешиб...

— А перебежчики вообще попадаются? — спросил я, интересуясь этим.

— Бывает, — степенно заметил поручик. — На войне всяко бывает... И голод не тетка: и от суровых взысканий бегут... Хлеб наш им очень нравится. Как только сдается, подняв кверху руки, сейчас просит: «битга, клеб, клеб»!

Часам к 12-ти, когда пальба почти стихла, мы всей компанией, вышли пройтись перед сном. Луна озаряла кругом всю местность. Стали выяснять, как мы по отношению к противнику и как нас огибает наша передовая линия, параллельно которой идет линия неприятельская.

Только слева, благодаря довольно большому, теперь замёрзшему озеру, мы были отдалены значительно от неприятельской линии. Поэтому в ту сторону, не стесняясь, можно было ходить, даже гурьбой, безнаказанно. Там и прогуливались, там предавались теперь и зимнему спорту и на коньках и на лыжах. Чем правее от нашей деревушки, тем позиции наши и неприятельские все более сближались. Совсем вправо, где позиции занимал сейчас как раз полк, который нам предстояло посетить, линия нашего фронта выступала, выдающимся к линии неприятеля, мысом.

Там, по словам моих собеседников, «немец виден уже как на ладони» и «когда играет его музыка, можно танцевать». При этом «немец выше, а мы в низине» так, что ему «еще виднее».

Я любопытствовал: почему же избрали такую невыгодную позицию? На это, всегда обстоятельный поручик наставительно мне пояснил:

— При отступлении позиции не выбирают, где удалось задержаться и окопаться, там и ладно до поры. Тут после Молодечно была такая

неразбериха.. Сейчас опасности пока нет... По всему заметно, что их маловато, может быть ждут подкреплений... Пока что надо держаться. Слава Богу, держимся!

Расставание наше возымело место у крылечка нашей «хибарки», прямо против которой тянулся на пустыре ряд низких, углубленных землянок, покрытых на поверхности свеженастланными тесовыми крышами.

У одной из таких землянок шел еще разговор в куче собравшихся молодых солдат, из вновь прибывших на фронт. Поздоровавшись с ними, наш поручик вызвал нескольких из них и объявил, что они с утра завтра в наряде на лесные работы и приказал им отправляться спать. Переверзев отдал какие-то таинственные, на завтрашний день, распоряжения Григорию Аркадьевичу и мы, пожелав другу спокойной ночи, разошлись по домам.

В нашем пристанище, было тепло и уютно и мы с удовольствием стали разгружаться и, не спеша, готовиться на покой.

Милейший Мандельштам («адъютант»), освободившись от своей военной амуниции и закулив трубку, превратился вновь, в своей вязанной куртке, в добродушного «чухонца» и уже разлегшись на своем теплом ложе, стал беззаботно говорлив.

Переверзев интересовался вызнать все о товарищах и Максим Григорьевич, с присущим ему добродушным юмором, не забыл никого, поведал обо всем.

Тем временем пальба вновь участилась. Стекла в окнах дребезжали. Иной удар казался совсем близким. По снегу поскрипывали чьи-то торопливые шаги. Невольно прислушиваешься : не немцы ли?..

Но, вот, воцарилась тишина.

Надо пробовать уснуть. Целый день на свежем морозном воздухе дает себя знать. Все лицо горит исхлестанное за дорогу, снежными пылинками.

Но самочувствие бодрое. Хочется какого-нибудь большого, ответственного дела: куда-то устремиться, идти вперед, вести всех за собою, двигать своею волею другие, робкие воли.

Сон не приходил.

Я в первый раз в жизни горько скорбел о том, что я не военный. Был бы теперь (по возрасту) генерал и кто знает, — может быть самый исход жестокой войны зависел бы, отчасти, от меня...

Только когда стрельба окончательно прекратилась и луна, заглядывавшая до сих пор во все щели нашей горницы, перестала светить, веки мои отяжелели и я заснул... «генералом».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Утром Переверзев мни объявил:

— Н. П., вы должны «принять парад». Люди нашего отряда будут выстроены к 10 часам утра, сейчас только девять.

«Парад, так парад!» — недаром я уснул генералом. Расторопный вестовой, из отрядных, помог нам умыться, одеться и напоил нас чаем. Мандельштам, преобразившись в военного, пригладив свои жидкие, кое-где седеющие волосики, надев свою грозную папаху и нацепив шапку, нагрузил вестового тюком с подарками и двинулся вперед. Переверзев и я

последовали за ним.

Мы прошли улицей до первого переулочка, в который и свернули. Он вывел нас на открытую площадь, где, вдоль аккуратно, стеною, сложенных дров, было выстроено человек сорок отрядных солдатиков. С правого их фланга стоял видный «старшой», а перед их рядами прохаживался, прихрамывая, в полной походной амуниции, Григорий Аркадьевич. Завидев нас он поспешно скомандовал «смирно» и замер во главе отряда.

Переверзев, пропустив меня вперед к центру фронта, также «по военному» замер на месте. Я поздравил храбрых сотрудников наших с праздником Рождества Христова и наступающим новым годом и сказал, что вся петроградская адвокатская громада, как один человек, горячо благодарит их за верную усердную службу. Я счастлив, что мне выпала честь пожелать им лично и сил и здоровья для беззаветной их службы на кровавом поле брани, где решается судьба нашей общей, горячо любимой родины.

В ответ, отряд, во весь свой голос, «по военному» гаркнул мне благодарность, причем я слышал ясно, что в конце прозвучало «вашество»; но было ли это приветствие именно «генералу» утверждать не смею.

Затем, указывая на тюк с подарками, очутившийся внезапно у самых моих ног, вместе с все подвигавшимся ко мне «адъютантом», я сказал, что это подарки им от нашего адвокатского сословия на добрую память.

Опять благодарность и неизменное «вашество».

В заключение я попросил у Переверзева разрешения вручить ему от себя некоторую сумму денег для раздачи «праздничных» всем поровну. Последняя моя речь, очевидно, имела наибольший успех. Благодарность мне гаркнули громче прежнего и теперь я уже явственно расслышал, что меня величают именно «превосходительством».

Парад был кончен.

Меня повели осматривать хозяйство отряда.

По дороге Павел Николаевич (Переверзев) мне сказал;

— Вы не можете себе представить, как здесь действует на нас и как долго живет в памяти всякое внимание, оказанное с тыла. «О нас не забывают, нас ценят»... — это так бодрит, просто удваивает силы. Ведь однообразие и монотонность обстановки ужасающая. Нервы притупляются, ничего не хочется, нет желаний... А без желаний, как же жить! Вот приезда вашего тут хватит на полгода, будут говорить, забудут, опять вспомнят, опять будут говорить и, так без конца... Вы очень хорошо сделали, что приехали. Я просто счастлив, земли под собою не чувствую... Поверьте, что так и все остальные... Спасибо вам!..

Все, что мне показали по части хозяйства, превзошло мои ожидания.

Лошади были сытые, холеные. Размещались они в двух, хотя и не отапливаемых, но хорошо зашпаклеванных, не продуваемых сквозняками, сараях. Санитарные двуколки, в числе которых были и две рессорные, крытые, для особо трудных больных, содержались в полной исправности. Хомуты, сбруя, носилки, все покоилось на своем месте, в щегольском виде и порядке.

Эта часть находилась всецело в заведывании Григория Аркадьевича и я искренно поздравлял его с таким образцовым «хозяйством».

В совершенно умиленное настроение привел меня вид недавно сооруженной, по инициативе Переверзева, поместительной бани, с

особым отделением для стирки и, затем, сушки белья. Пока человек парится в бане, его белье машинным приспособлением моется и высушивается и в него можно тотчас же облачиться. Рядом с баней возвышалась какая-то паровая машина с нагревающейся камерой для дезинфекции верхней одежды.

Офицеры и солдаты, с которыми я впоследствии беседовал, никогда не забывали упомянуть об этой стороне деятельности нашего отряда, и говорили:

— К вам, точно в рай, попадешь! Примут грешным, грязненьким, — выпустят чистым праведником.

Благословения по адресу Переверзева повторялись хором, единодушно.

Обход свой я закончил посещением нашей милой и также всеми почитаемой и благословляемой, докторши.

Она жила в отдельной «хибарке». Комната ее была с перегородкой. В более обширной ее части, обставленной широкими деревянными скамьями (чтобы можно было положить больного) и шкапиком с хирургическими инструментами, шел в это время амбулаторный прием.

Я просил не прерывать его.

Несмотря на великий праздник, там было человек шесть пациентов. Запах йода и йодоформа стоял в воздухе.

Три солдата с натертыми до крови ногами сидели, уже разувшись и ждали своей очереди. Два деревенских подростка и очень старенькая «бабуся» были теперь в переделке. И докторша и студент-медик им что-то промывали, присыпали и забинтовывали.

Я заглянул за перегородку. Помещение самой докторши было крохотное: узкая походная постелька, застланная белым одеяльцем, сосновый простой стол, на котором лежали книги и стояли банки с чистой ватой и два некрашенных табурета, были ее обстановкой. В углу за кроватью висел чистый докторский халатик, очевидно, готовый на смену тому, в котором она сейчас работала.

С чувством невольного благоговения я стал смотреть, как быстро и уверенно работают маленькие, покрасневшие руки, бинтуя обнаженное колено старой «бабуси», пока та, лежа на спине, спокойно и упорно глядела в потолок, точно разглядывая и видя его в первый раз. Не желая мешать, я скоро вышел и слова умиленной благодарности, которые невольно вырвались у меня на прощание, мне показались пустыми и ничтожными.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

От командира полка, который преимущественно обслуживался нашим отрядом и который был сейчас на передовой позиции, в то время, как другой тоже «наш полк» «отдыхал» т. е. находился в резерве, звонили в телефон и вызывали Переверзева, пока мы были в обходе.

Соединившись с ним Павел Николаевич, смеясь нам объявил: — Пеняют, что уже сегодня я не везу вас к ним. Завтра непременно ждут к обеду.. И откуда только успели пронюхать, что вы уже здесь. Должно быть парковые по телефону сообщили. Я за вас обещал. Кстати и подарки подъедут для полка...

Подарки, действительно, вскоре подъехали, но оставалась еще целая задача с их перегрузкой и распределением по войсковым частям.

Пообедали мы всей компанией. Обед, подбодренный привезенными

нами закусками и вином, вышел совсем праздничный.

Приехал к обеду и случайный гость: немолодой уже «прапорщик» артиллерии с своим фотографическим аппаратом. Он был большой любитель моментальных снимков и альбом, который он перед нами демонстрировал, доказывал, что в этой области он был большой мастер. Тут были и сцены окопной жизни, и обоза, и тыла и снимки рвущихся снарядов. Было налицо и все ближайшее начальство. Переверзев на своем лихом коне, в папахе и с шашкою у пояса, был великолепен.

Привез он с собою свой фотографический аппарат, так как решил непременно снять нас всей группой и настоял на этом.

Наш отряд вызывался к вечеру в ближайший полевой лазарет для эвакуации оправляющихся раненых, получивших ранения при последней ночной вылазке. Их предстояло переправить в тыл.

Когда наш фотограф узнал, что уже запрягают «санитарки» и нам седлают коней, так как мы намерены сопровождать отряд до лазарета, чтобы принять там раненых, он настоял на том, чтобы, «воссев на коней», мы были увековечены вместе с отрядом.

Уже через два дня он доставил нам снимки, которые оказались весьма удачными. Моя давняя, еще от юности, привычка к верховой езде не посрамила меня даже рядом с лихим наездником Переверзевым. Только милый мой «адъютант», несмотря на все старания, не выглядел в седле также уверенно, как на собственных ногах. Объяснял он это тем, что лошадь его «бесилась», т. е. не хотела стоять на месте и он должен был ее «крепко держать».

Проводив отряд до полевого лазарета, скрытого в лесу недалеко от позиций, мы познакомились с доктором, который тревожно стал нас расспрашивать: не готовится ли в ночь новая «глубокая разведка» и не ожидаются ли свежие раненые, что так спешно приказано очистить лазарет?

Переверзев заметил ему, что это держится всегда в секрете и что кроме ближайшего начальства, решительно об этом никто ничего не знает.

Наши санитары ловко и вместе осторожно принялись за работу, что на этот раз им далось, легко, так как тяжело раненых не оказалось. Когда все раненые, кто лежа, кто сидя, были размещены по «санитаркам» и укрыты теплыми одеялами, поезд, под предводительством Григория Аркадьевича, ехавшего впереди верхом и студента-фельдшера, примостившегося где-то на облучке, двинулся в путь. До первого тылового лазарета предстояло проехать пятнадцать верст.

Мы с Павлом Николаевичем, пожелав ему счастливого пути, вернулись восвояси, так как на завтра с утра предстояло наладить все с отправкою подарков и своевременно быть у командира полка на позиции.

Отряд наш вернулся обратно только перед рассветом и неутомимый Григорий Аркадьевич доложил на утро Переверзеву, что переправка раненых совершилась вполне благополучно и что все они сданы «под расписку» заведующего тыловым лазаретом.

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

На двух небольших самодельных санках, запряженных в одиночки двинулись мы на позиции, направляясь к командиру, полк которого занимал их.

Я с Переверзевым сели в санки без кучера и Переверзев правил сам, а



во вторых санях, с Мандельштамом и Григорием Аркадьевичем, правил отрядный вестовой. Мороз слегка пощипывал щеки и уши, когда сворачивали к ветру, но в общем день выдался дивный, и ехать по лесу, и потом пустырем было необыкновенно приятно. Тишина стояла кругом мертвая. О выстрелах мы совсем забыли, так как ни в последнюю ночь, ни утром их слышно не было.

Но, когда мы, отъехав верст шесть, свернули в улицу какой-то, не совсем опустившей деревушки, совершенно этого не ожидая, услышали: «бабах!», и заметили зеленовато-дымчатый столб, обозначившийся впереди, слева, в довольно значительном от нас отдалении.

Одновременно с этим нам преградили путь два солдата, с красными перевязками на рукавах. «Военная полиция!» — объяснил мне Переверзев. На улицу деревушки повысыпали тем временем люди из хибарок, в их числе я заметило двух, трех малолеток.

Ехать дальше временно воспрещалось, так как начинался, как все решили, обстрел именно той дороги, которую нам предстояло ехать.

Повылезли из саней и стали, вместе с другими, наблюдать. Продвинулись, по возможности, вперед чтобы не мешали строения.

Проследив несколько снарядов, которые, разрываясь, выпускали из себя целые фонтаны то зеленоватых, то желтоватых, то фиолетовых дымчатых газов, мы скоро ориентировались в происходящем.

От деревенской улицы, на которой нас задержали, шла узкая, наезженная дорога через совершенно обнаженное, белое от снега, пространство. Мне объяснили, что дорога эта проложена среди, теперь замерших, болот и ведет к передовым нашим окопам, на островке, выдающемся мысом к неприятельской линии.

Мы скоро убедились, что выпускаемые сейчас, один вслед за другим, снаряды не достигают дороги и, по-видимому, метят совсем не в нее.

Более внимательное наблюдение открыло нам глаза. Снаряды ложились и разрывались все вокруг одной точки, которая, очевидно, и была целью обстрела. При помощи полевого бинокля, имевшегося у Переверзева, мы ясно разглядели притаившуюся за зубчатым, растянувшимся бугром нашу полевую батарею, которую бугор скрывал от неприятеля; но она ясно была видна с нашей стороны.

Мы разглядели и лошадей, мотающих хвостами, и людей, подле них, сжавшихся в одну кучу.

Овладевшее нами волнение не поддается описанию. Каждую секунду снаряд мог попасть именно в эту точку и поглотить в один миг все, что, притаившись, еще жило, еще хотело жить.

Обстрел длился более получаса.

Снаряды решетили снежную поляну на небольшом пространстве. Они ложились и рвались, выпуская дымчатые фонтаны, то правее, то левее, иногда сзади бугристого кряжа, замыкающего гладкую снежную поляну.

При виде каждого нового летящего снаряда на секунду замирало сердце и, вслед затем, общий облегченный вздох сливался с чьим-нибудь громким восклицанием «мимо»!

Наконец, выстрелы так же внезапно, как раньше начались, прекратились.

Прождали с четверть часа. Молчат.

Кто-то сказал: «пошли обедать!»

Меня жгуче интересовал вопрос: что же станется с батареей? Неужели так она и не двинется с места, до нового выстрела?

Сзади нас подъехал артиллерийский полковник, едущий туда же куда и мы, к нашему полковому командиру. Мы познакомились и он пояснил нам: «она (батарея) только тем и спаслась, что притворилась мертвою. Через лазутчиков немцы, вероятно, вызнали место ее расположения, но, по счастью, только приблизительно. Если бы батарея только пикнула, от нее бы следа не осталось ... Они и вызывали ее обозначиться, ответить ... Стара штука, не на дураков напали! Вероятно, решили, что тут уже и след ее простыл. ..»

— Неужели она здесь и останется? — тревожно спросил я.

— Пока что, да. А, вот, стемнеет, луна, по счастью, всходит позднее, мигом отлетит верст на пять-шесть в сторону в укромное местечко. Оттуда, пожалуй и жарить начнет, пока ее там не нащупают.

Выходило все просто, до ужаса просто.

— Ну, пора двигаться, можно — раздался чей-то голос. — Только по одиночке, не скучиваться! На одиночных они снарядов тратить не любят, а если приметить народу погуще — и палят.

Переверзев первый тронул ходкую финскую лошадку и мы помчались точно на приз.

Переждав несколько минут, тронулись наши вторые сани, потом и третьи артиллерийского полковника.

Пробежка на полных рысях всей, совершенно открытой, гладкой дороги брала все-таки минут десять. Дальше уже шли кусты и деревья, и дорога исчезала уже с неприятельского поля зрения.

— Что ж, целы!.. весело воскликнул Переверзев, пуская шажком запотевшую шведку. — Тут привыкаешь к такого рода спорту. При отступлениях, бывало, мы за, собой уже говор немецкий слышали, а ничего, нагруженные ранеными, ехали себе, да ехали...

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Очевидно, заново и нарочито построенный домик, весь вросший в землю, где ютился штаб и командир полка, был укрыт с неприятельской стороны лесной полосой. Огромной высоты сосны сторожили его с трех сторон и казались гигантами по сравнению с ним и с близлежащими хозяйственными пристройками. У крылечка нас встретил сам командир, сухощавый блондин, лет сорока, с бледным, нервно-подвижным лицом. Не так давно он сильно прихворнул и только несколько дней, как вернулся к своему полку. Ему давали отпуск, но он не пожелал им воспользоваться.

Со слов Переверзева я знал, что это очень преданный своему долгу, не раз побывавший в трудной переделке воин, любивший солдат и, в свою очередь, любимый ими.

Он радушно встретил нас, причем облобызался с Переверзевым, с которым был в приятельских отношениях.

Он представил нам своего адъютанта и распорядился послать фельдфебеля принять и доставить наши подарки для полка.

Адъютант его, из «призванных» был помощник присяжного поверенного московского округа, почему и проявил к нам много внимания.

Откуда-то и здесь тотчас же появился фотограф-любитель из писарей штаба и нам тотчас же предложено было «вместе сняться».

Я заметил, что на фронте, как нигде, никто не прочь лишний раз увековечить свое изображение. Полковник, с доброю улыбкою, которая

красиво освещала его бледное лицо, по этому поводу сказал мне:

— Большие деньги зарабатывают здесь наши фотографы. Нет солдата, который не пожелал бы послать домой своей фотографии и всегда в позе самой воинственной... Точно каждый чувствует ежесекундную возможность своего исчезновения.

Против домика, у которого мы, еще не входя пока в него, в беседе задержались, были какие-то живописные развалины. Фотограф пригласил нас именно туда, находя, что, на их фоне, мы выиграем.

Мы покорно двинулись, через дорогу, к ним.

Полковник пояснил.

— В течении кампании эта местность уже три раза переходила из рук в руки. Здесь была богатая помещичья усадьба... Неприятеля в ней камня на камне не оставили. Развалины эти от барского дома, который они сожгли при отступлении. Тут они раньше роскошествовали, пировали... одного вина сколько захватили в погребах...

Мы кончали позировать, когда из телефонной будки дежурный прибежал доложить полковнику, что его вызывает к телефону начальник дивизии, временно заступающий и отсутствующего корпусного командира.

Полковник стремительно пошел к своему домику, мы не спеша двинулись за ним.

Оказалось, что генерал едет сюда вместе с начальником штаба корпуса и корпусным начальником артиллерии.

В той деревушке, где мы были задержаны, они остановились, не рискуя ехать дальше в автомобиле. Противники почти никогда не упускают случая, обстрелять автомобиль, исходя из предположения, что в автомобиле непременно едет высшее начальство.

Решено было послать за ними наши сани, так как они не были отпряжены. Их и послали, причем Переверзев сам пожелал править шведкой.

Мы успели осмотреться в доме полковника, пока «начальство» еще не подъехало. Это было крошечное помещение, состоявшее из трех, скорее кают, нежели комнат: небольшой спальни, такого же кабинета и узкой столовой протяжением первых двух комнат.

Мы курили и грелись у топившейся печи кабинета когда — кто-то снаружи воскликнул: «едут!»

Все высыпали навстречу.

Начальника дивизии можно было тотчас отличить и признать в нем генерал-лейтенанта, так как на его меховой тужурке, цвета хаки, были генеральские погоны и синие его шаровары были с красными лампасами. Двое его спутников, один постарше, другой помоложе, были в сероватого цвета меховых поддевках, без погон.

Командир полка сперва отрапортовал генералу держа руку «под козырек», а затем представил нас. Генерал приветствовал меня маленьким спичем, благодаря за внимание к фронту. В моем ответе проскользнули как-то слова: «нашей несчастной родины». К чему тогда эти слова подошли уже не припоминаю, но помню, что они были мною сказаны и что генерал от них как-то встрепенулся и, когда я кончил, вопросительно откинулся и спросил меня: «почему несчастная?»

Я пояснил, что дрящущая кровавая страда и все ее жертвы несомненно несчастье для нашей родины, как и для всего человечества.

Он видимо был удовлетворен моим пояснением, так как уже другим тоном промолвил: «да, да, конечно несчастье... Вы в этом смысле?!...»

Полковник пригласил всех в дом.

Здесь генерал, два его спутника и командир полка, удалились в кабинет и, заперев за собою дверь, о чем-то стали совещаться.

Мы остались с адъютантом и артиллерийским полковником в столовой, курили, разговаривали. Кто-то сказал: «кажется готовим глубокую разведку, может быть даже частичную, атаку...»

— На этой позиции весной невозможно оставаться, — пояснил артиллерийский полковник, — разведет такое болото кругом... Нужно либо продвинуться вперед, либо отойти... на сухое место. Вероятно об этом и держать совет.

Минут двадцать длилось совещание. Наконец командир, высунувшись из двери кабинета, где оно происходило, кликнул адъютанта, и распорядился приготовить, кроме двух наших, еще трое саней, так как «начальство» и все его спутники отправятся тотчас же на «позицию». Обратившись ко мне он сказал: «вы ведь, вероятно, захотите поехать с нами, посмотреть противника?»

Я поспешил ответить утвердительно.

На пяти санях, гуськом, двинулась вся компания. Впереди начальник дивизии с командиром полка. Я с Переверзевым вслед за ними и трое перегруженных саней за нами.

Двинулись из домика командира по дороге, которая от леска все забирала вправо, пока не вышла на открытое место. От точки нашего отправления линия фронта шла вправо крутым загибом, в центре которого она наиболее сближалась с фронтом неприятеля.

Туда мы и направлялись. Эту позицию и занимал теперь полк «нашего» полкового командира.

По дороге мы обогнали медленно двигавшуюся походную кухню, которая дымя и распространяя вокруг себя вкусный запах горячих щей, продвигалась к тылу позиции.

Самая дорога, по которой мы ехали, шла как бы в низине и, по-видимому, не была видима неприятелю, так как ехали мы свободно, не думая о возможности обстрела.

В низине же оставили сани и уже пешком стали подниматься по буграм, выйдя на которые увидели ряд плоских землянок, ютившихся позади траншей и окопов, сплошь замыкавших всю лицевую часть позиции.

На всем ее пространств кое-где еще росли деревья, а по краю низины уцелела целая рощица, скрывающая от нас, когда мы добрались до позиции, и оставленные нами сани и самую дорогу, по которой мы только что ехали.

Обход позиции был длительный и внимательный.

Генерал хотел все видеть и со всеми говорить.

На открытых местах полковой командир рекомендовал следовать в рассыпную и отнюдь не сучиваться.

Всюду, где генерал встречал солдат, он останавливался, здоровался с ними, поздравлял с праздниками. С украшенными Георгием задерживался подольше. Пробираясь вдоль узких окопов, облицованных сплошь срубом, он находил слова приветия и для сторожевого солдата и для дежурного офицера.

В одном, особенно выдающемся, месте окопа остановились около утвержденных в замаскированных амбразурах пулеметов. Здесь же была прилажена зрительная труба, в которую по очереди смотрели. На противостоящей возвышенности ясно виднелось строение, в виде замка

(помещичий дом, — пояснили мне), в центре немецкой ближайшей позиции.

— Снять его ничего бы не стоило нашей артиллерии, — поясняли мне, — но жалко, ведь, свое же, русское..., а немцы этим пользуются, смело там хозяйничают. Смотрите, смотрите, видите там, словно муравьи копошатся! Вчера там, по случаю нашего Рождества, что ли, музыка играла. Слышно было отчетливо и, вообразите, наше «Боже Царя Храни!» Плюнуть хотелось, а наши окопные шапки снимали, креститься пустились...

Генерал был неутомим и мы едва, попевали за ним. В одном месте «по открытому» он решительно не позволил нам следовать за собой, при чем авторитетно заявил:

— Зачем по пустому рисковать. Мы — другое дело, это наша профессия, как у вас своя... Мы обязаны, солдаты должны видеть, что генерал и полковник от снарядов и пуль не прячутся, иначе как же от них требовать... И скучиваться на виду неприятеля вообще не рекомендуется.

Можно было залюбоваться и красивой фигурой и внушительной осанкой генерала, когда он, вслед затем, в сопровождении лишь полкового командира, не спеша двинулся по «открытому месту».

Едва он успел к нам вернуться, как раздалось два-три пулеметных залпа, прошуршавших где-то по снегу. Вреда этим никому причинено не было, но ощущение какой-то затаенной гордости, все-таки, проникло в наши сердца.

Побывали мы и в офицерских и солдатских землянках. В каждой из них накаливалась керосиновая печь, распространяя удушливый запах, не смотря на раскрытые настежь двери.

— Жизнь наша тут кротовая, норовим в землю поглубже зарыться... Летом еще сносно, а зимой нестерпимо. И крысы проклятые одолевают... Вот держу кошку... Спугивает их по крайности. Со мною и спит моя верная «Машка!»

Объяснял нам молодой, еще двадцатидвухлетний юнец, но уже поручик, и с Владимиром в петлице, причем усердно гладил и ласкал белую, рослую кошку, с рысьими глазами, которую, сидя на корточках, удерживал между своими коленами. Когда мы всей гурьбой направились в «низину», к оставленным нами саням, по всей позиции пошла оживленная беготня. Солдаты, кроме часовых и дежурных, повысыпали из всех землянок, и ринулись партиями в перегонку к той же низине. У каждого из них в руках была оловянная миска и кружка, а из голенища торчала деревянная ложка.

— Говорено вам: врассыпную! По одиночке! Вишь, черти, прут словно три дня не лопали!.. — гаркнул им вслед рослый, степенный фельдфебель.

Это знаменовало, что прибыла «кухня», которую мы давеча обогнали. Она остановилась у рожи, там же где мы оставили наши сани. Проголодавшиеся воины и бегут вперегонку, за горячими щами, здоровым куском свежее испеченного хлеба и добрым куском мяса. А предостерегают их от скучиванья всегда и почти всегда тщетно. Неприятель зорек. Почти каждый раз, об эту пору, он пускает снаряды в зашевелившийся муравейник. И на этот раз выстрел последовал. Снаряд, перелетев через все головы, разорвался где-то за роцей. Не было еще случая, чтобы он попал в самую гущу, но отдельные ранения шрапнелью бывали.

— Вот вы и получили боевое крещение! — сказал мне приветливо

генерал, когда мы, рассаживаясь по саням, пускались в обратный путь.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Проголодавшиеся и обветренные снежной, морозною пылью, мы весело расселись за обеденный стол гостеприимного полковника. Беседа пошла живая, непринужденная. Были и речи и тосты, благодаря двум-трем бутылочкам привезенного нами вина. Генерал оказался настоящим оратором, умеющим находчиво чеканить слова любезности и пожеланий. Полковник, ценя высоко Переверзева, тепло оттенил работу нашего отряда на фронте и провозгласил ему «живио».

Я поделился моими впечатлениями от фронта и горячо приветствовал не показное, а глубоко внедрившееся в него геройство лучших сынов нашей страны. Переверзев также высказал много хорошего по адресу беззаветных страстотерпцев русской земли. Перед кофеом пожелал говорить и Максим Григорьевич и, к общему удовольствию, рассмешил нас всех своими удачными юмористическими сопоставлениями и каламбурами.

Когда мы допивали кофе и курили, мимо низких окон столовой, с топотом и говором, пронесли на носилках раненого. Ближайший перевязочный пункт был неподалеку, рядом с землянкой полкового доктора. Генерал пожелал пройти туда, чтобы видеть раненого, и мы последовали, за ним. В низкой каморке мы увидели раненого уже положенного на хирургический стол. Ему, взрезывая голенище, снимали мерзлый сапог с раненой ноги.

Генерал наклонился к лицу бледного, вздрагивавшего от холода, или от боли, молодого солдата.

Выяснилось, что он, с двумя товарищами, выбравшись за линию, затеял прокрасться к неприятельской проволоке и обрезать ее. Расчет покоился на том, что немцы весь день молчали, а им было любо сделать заранее «свободный ход» для ночной разведки.

К великому моему удивлению, генерал не только не попенял раненому за явную неосторожность, но похвалил его, назвав «молодцом» и, записав имя и фамилию его в записную книжку, которую извлек из кармана своей меховой тужурки, громко и отчетливо сказал:

— Помни одно и твердо веруй: за Богом молитва, а за Царем служба никогда не пропадает! Поправляйся, молодец...

Раненый, пытаясь приподняться, от чего его удержали, весь вспыхнул и громко отчеканил: «рад стараться, ваше превосходительство!»

Пулевая рана оказалась сквозной. Пуля прошла повыше щиколотки, задев лишь отчасти кость. По мнению врача, ранение опасности не представляло.

Простились мы с гостеприимным хозяином когда уже стало смеркаться.

Генерал, протягивая нам радушно, при прощании руку, сказал: «весьма рад был с вами познакомиться. Кланяйтесь от нас Петрограду, скажите, что мы не спим, бодрствуем!..»

Потом еще прибавил: «мы здесь позадержимся, маленький военный совет хотим подержать. Счастливого пути!»

Под покровом ночи обратный наш путь совершили в полной безопасности. Противник упорно молчал. Только когда мы уже были дома и вошла луна, и утомленные мы разлеглись по постелям, началась, как и в первую ночь, орудийная стрельба. Переверзев приподнявшись,

прислушался и сказал:

— Сегодня наши отвечают... может быть глубокую, разведку готовят. Надо спать, пожалуй к утру и нас потревожат... Спокойной ночи!..

Против ожидания, часам к двум ночи стрельба совершенно смолкла, и весь следующий день было тихо.

Я оставался «на фронте» еще три дня и, за все это время, ничего более «серьезного» не случилось.

Посещения войсковых частей, где нами раздавались подарки, всюду сопровождались оживлением, радушием, лаской и вниманием. Нигде ни признака ни утомления, ни раздражения от тяжелых условий боевой жизни, но всюду тревожные вопросы относительно того, что именно творится в тылу, в частности в Петрограде.

Убийство Распутина, хотя еще и свежая новость, как-то мало интересовала фронт, или ее умышленно замалчивали.

— Лишь бы тыл «не сдал», мы то не сдадим, держимся! Да и он (враг), видимо, слабеет, не та теперь у него прыть. Из десяти снарядов половина уже не рвется... — Слышал я с разных сторон и вынес впечатление, что это не слова только, а действительный отголосок общего настроения.

### ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

В один из этих дней нас, по телефону, пригласил к себе к обеду уполномоченный санитарного отряда Петроградского земства.

Хотя его пункт отстоял в верстах двенадцати от нашего, мы решили поехать, тем более, что он любезно прислал за нами свою тройку, запряженную в широкие розвальни с ковром и меховым одеялом. Порядочно морозило и было ветрено.

По дороге видели мы конные батареи, ютившиеся под всевозможными естественными и искусственными прикрытиями, с землянками не только для людей, но и для лошадей. Их вводили туда и выводили оттуда по углубленной покато в землю поверхности.

Проезжали мы мимо обширного кладбища; сплошь обсаженного аккуратно елками, с многими рядами совсем новых сосновых крестов.

Тут же рядом с кладбищем, была церковь: обширный деревянный барак, довольно живописный фасад которого был сплошь декорирован зеленью ельника.

Дорога шла все время по пересеченной местности, частью лесом, частью по открытому месту, с подъемами и ложбинами. Сытая тройка лихо домчала нас до оживленного поселка, который всеми именовался «земским».

Кроме щегольски оборудованного санитарного отряда, тут был и перевязочный пункт, и аптека, и лавка, и баня и питательные земские склады, ближайšie к фронту. Все это размещалось в заново отстроенных обиталищах, из свежесрубленных сосновых бревен.

О земских и городских порядках, по части снабжения ими фронта пищевыми продуктами, я слышал только похвалы, когда же заходила речь об интендантстве, его поругивали.

— От него никогда ничего во время не получишь, — жаловался один ротный командир. — Того нет, это все вышло, а вот не желаете ли другого, чего у нас и без того хоть отбавляй. Без земских и городских доставок нам бы давно животики подвело.

Домик уполномоченного на пригорке, среди темной зелени рослых

елей, выглядел совсем новеньким, чистеньким. Кругом все постройки выглядели такими же.

В общем, получалось впечатление, что мы, приехали в гости в благоустроенную помещичью усадьбу, владелец которой только что отстроился заново, после пожара.

Уполномоченный оказался хорошо мне знакомым петроградским мировым судьей, командированный съездом в распоряжение земства. Он уже третий год обслуживал фронта.

Когда я передал ему мое впечатление от щеголеватой новизны всех построек его «усадьбы», он, посмеиваясь, сказал:

— В сущности, оно так и есть! Мы раньше были на другом месте в настоящей помещичьей усадьбе. Оттуда пришлось отступить. Еще хорошо, что дело было летом. Должны были ютиться некоторое время просто в лесу. Расчистили тут же площадку, да этим же лесом и построились, а пока строились, пребывали, со всем нашим хозяйством, под небесным сводом.

Чудесно было на такой даче!.. Как видите, обветрился, загорел, оброс и поздоровел.

— Совсем по-американски! — заметил я.

С горделивою настойчивостью, наш хозяин тотчас же, повлек нас в обход всей своей «усадьбы». Санитарный отряд был и богаче обставлен и численностью гораздо больше нашего. Лошадей было около сотни в просторной, благоустроенной конюшне. Казарма для многочисленной команды, с широкими нарами для спанья и с поместительной столовой, содержалась в чистоте и полнейшем порядке. Санитарные двуколки, возки и фургончики были в изобилии и самой целесообразной конструкции.

С нами в обход пошла немолодая княгиня, заведующая в качестве «крестовой сестры» чьим-то частным санитарным отрядом, приехавшая также в гости. Она с завистью подробно, все осматривала, приговаривая: «ах какой вы счастливец, вас средствами не стесняют, при таких условиях можно работать!»

Склад, лавка, аптека, перевязочный пункт с молодым доктором, примкнувшим к нашей компании, все производило впечатление чего-то основательного, надежного. Чисто военная дисциплина, смягченная внимательно-добродушной учтивостью к нуждам каждого, чувствовалась в каждом распоряжении и действии не только уполномоченного, но и всего персонала его ближайших сотрудников, в числе которых было и несколько студентов.

Столовая, в которую нас пригласили к обеду, была довольно обширная комната, но половина ее, во всю; длину, была оборудована «нарами», на случай, как мне объяснили, экстренного скопления гостей с фронта. Иногда бездомные молодые офицеры, по смене с позиций, наезжали сюда отдохнуть день, другой. В шутку, благодаря хорошему повару, вывезенному «уполномоченным» из Петрограда, столовую эту называли «рестораном Кюба».

За узкий, но длинный обыденный стол нас село, на этот раз, человек шестнадцать. В числе приглашенных к столу было шесть человек представителей от заводских петроградских рабочих, приславших с ними свои рождественские подарки фронту. Только они одни не были одеты «по-военному», а были в своих новых праздничных пиджаках. Держали они себя скромно, с большим достоинством, ели аккуратно и осторожно.

Я толкнул сидевшего рядом со мною моего милейшего «адъютанта»,



шепнув ему, указывая на рабочих: видите как мило!.. А мы то зачем с вами вырядились?

Но он многозначительно обвел меня глазами, как бы желая сказать: «а чем же мы не хороши»!

Обед состоял из великолепной кулебяки с бульоном, заливной осетрины, гуся с капустой и орехового пудинга, и был достоин блаженной памяти Кюба. Была и закуска, и пиво и вино, но все в меру.

Были и спичи за обедом.

Один из рабочих, помоложе, произнес, видимо заученное, но все же теплое, слово по адресу двух офицеров бывших в числе гостей, сопровождавших депутацию от рабочих по фронту.

Переверзев предложил мотивированный тост за «воинов тыла» — заводских рабочих. Немолодая княгиня (крестовая сестра) хвалила общественные организации и, как на образец указала на деятельность нашего гостеприимного хозяина.

Я высказал пожелания, чтобы кровавое крещение России, хотя бы ценою пролитой крови невинных жертв, сплотило ее в духе любви, братства и дружного единения.

Сейчас, когда я пишу эти строки я, знаю, что этого, как раз, не сбылось; перо едва держится в моей руке, и все во мне болит и ноет от смертельной тоски...

«Добрыми намерениями услан весь ад!» — и я чувствую, как ничтожны слова, пока они остаются словами...

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Последний день пребывания «на фронте», почти сплошь пришлось провести дома.

Переверзев хотел непременно, чтобы я проверил все счета за отчетный период и вообще подробно ознакомился с хозяйственной и финансовой стороной дела. Отчетность была довольно сложная, так как денежные средства, шли из двух источников из кассы союза городов и от казначей нашего Совета по специальному счету санитарного отряда. Григорий Аркадьевич вел отчетность и держал всю хозяйственную часть в образцовом порядке.

Ему же на долю выпало, согласно категорическому настоянию Переверзева, составить «реляцию» о моем посещении отряда для доклада Совету и общему Собранию присяжных поверенных. Она была вручена моему «адъютанту» в запечатанном, печатью отряда, пакете.

Когда, ее вскрыли в заседании Совета и милейший (увы — ныне уже покойный!) казначей наш, член Совета Н. Н. Раевский громко и выразительно прочел ее, я устыдился, до того воинственным я в ней был изображен. Прямо геройствовал: и под обстрелом был; и на коне, во главе отряда, ехал; и «парады принимал»; и с корпусным командиром и его начальником штаба позиции осматривал и везде «блестящие» приветствия и речи говорил! ... Уж очень постарался, легко поддающийся умиленно-восторженному настроению неопенимый Григорий Аркадьевич.

Поезд, в котором мы должны были вернуться в Петроград, отходил поздно ночью, почти под утро и выезжать, чтобы попасть на него предстояло не ранее часов одиннадцати. Вечер мы провели в общей компании в нашей столовой за самоваром и легким ужином. Вся местная офицерская молодежь пришла сюда «на огонек». Среди них были и

бойкие говоруны, вышучивавшие товарищей и «начальство», но были и спокойные, вдумчивые, явно проникнутые сознанием ответственной важности переживаемого момента.

Наша милая «докторша» у самовара была за хозяйку. Она всем услуживала и бесшумно приходила на помощь каждому, как раз в ту минуту, когда в этом кто-либо нуждался. Удивительная способность быть одновременно нигде и везде, где только в этом действительно есть надобность. Только очень чуткие, духовно одаренные натуры способны так проявлять свое бытие. Когда, подавая за наш стол в третий раз подогретый самовар, вестовой ей что-то, наклонившись, тихо сказал, она улыбнувшись детской улыбкой, в свою очередь, что-то тихо сообщила, сидевшему с ней рядом Григорию Аркадьевичу. Тот встал и прихрамывая, направился к Переверзеву, сидевшему рядом со мной. Он что-то, также шепотом, «доложил» ему. Тогда, Переверзев уже громко поведал нам то, что уже начинало всех интриговать.

— В отряде нашем имеется отличный плясун молодой татарин. Танцор действительно изумительный, самому Фокину в пору ... Есть и гармонист аккомпаниатор. Имеется и комический номер... Испрашивают позволения представить вам свои таланты. Позволите?

— Разумеется, буду рад! — мог только я ответить с улыбкой.

Двери столовой скоро распахнулись и перед нами предстала вся труппа. Все три артиста были в лубочных масках.

Первым номером были танцы молодого татарина, преобразившегося в елочного седовласого деда, с мочальной бородой. Он был в сером балахоне из рядна, из которого шьются мешки, поверх казенного тулупчика вылезавшего по краям ворота и в рукавах. В таком виде, он выходил «с толщонкой», между тем как в действительности, как сообщили мне, был очень худощав и выглядел совсем мальчиком. Ноги его, очень небольшие, были обуты в белые больничные туфли, подвязанные переплетом из тонкого шпагата.

Танцевал он и красиво и своеобразно и легко. Выходило прямо «по балетному»; только странною казалась утолщенная фигура, подбрасываемая легко, точно мячик, на тонких, молодых, проворных ногах.

Гармонист, одетый «по-русски» аккомпанировал очень забористо каким-то импровизированным попури из знакомых мотивов. Танцора очень одобрили, и он охотно повторил заново всю амальгаму своего сложного танца, внося в него несколько новых штрихов. Прыжки его вверх были прямо таки изумительны по силе и соразмерности.

Комический элемент был представлен в виде солдата, одетого не по походному, а в узковатый беспогонный мундир, с немецкой бескозыркой на голове. Лубочная маска изображала уродливо-курносого краснощекого малого, с глупой улыбкой ярко малинового рта до ушей. На ногах были настоящее солдатские, как всегда, не по ноге, неуклюже сапоги.

Этот был тоже танцор, но танцор — гротеск. Свои ужимки прыжки он сопровождал быстрым говорком под музыку. Присядка, выверты носками внутрь и затем припадание к земле на руках так, чтобы ноги продолжали плясать в воздухе являлись кульминационными трюками и его камаринского и трепака.

Из словесных его причитаний я запомнил только куплет, повторявшийся, с некоторыми вариациями, особенно часто:

Так и пишут вензеля,  
Грязь месили в непогоду,  
И сушились опосля!

Соль прилива, очевидно, заключалась в обличении интендантских «сапог-уродов», — неизменной болячки солдатского обмундирования. Было и нечто, относящееся к немецкой бескозырке, надетой для сего на голову:

Австрияк не так танцует,  
Голова без козырька!  
Кайзер живо оштрафует  
Коль не сможет кувырка!

Припев этот сопровождался стремительным, под музыку же кувырканием через голову.

В заключение солист-гармонист исполнил свой концертный репертуар.

Артистов похвалили и отпустили с благодарностью.

Во время исполнения у распахнутых дверей столовой столпилось много зрителей из солдатиков и отрядных санитаров. Они жадно следили глазами за хореографическими фокусами доморощенных искусников и не могли удержаться от хохота при обличении интендантских мучителей-сапог и немецких бескозырок.

Сборы наши в обратный путь были недолги, но прощание и проводы осложнились.

И Переверзев и Григорий Аркадьевич и даже наша милая, в своей, словно детской, застенчивости, докторша пожелали нас проводить верхом на лошадях. Кое-кто из офицеров раздобыл, откуда-то, большие сани-розвальни, и вся компания двинулась за нашей тройкой.

Переверзев скакал впереди, чтобы вывести нас до поворота на ближайшую к железнодорожной станции дорогу, не ту по которой мы, дав большого крюка, ехали сюда. Остальные ехали «для компании».

Ночь была безветренная, звездная, только слегка морозная. Можно было подумать, что это рождественское катание «на островах» в Петрограде.

Крутой поворот на прямую лесную дорогу к станции был в шести верстах, и мы не заметили, как домчались до него.

Прощание было трогательное.

Расцеловавшись с Переверзевым и Григорием Аркадьевичем, я хотел было поцеловать руку докторши, но она быстро отдернула ее и, по-детски стремительно, облобызалась со мною, как делали другие.

С меня взяли обещание, что на Пасху я опять непременно приеду и погошу подольше у них.

Когда смолкли позади нас их голоса, и наши сани одиноко покатались по затененной узкой лесной дороге, что-то зловеще грустное стало прокрадываться в душу: увидим ли их когда?

Тем временем стала всходить луна, и вскоре мы услышали отдаленные выстрелы.

Наш рассыльный Андрей, сидевший на облучке, рядом с кучером, повернул к нам голову и промолвил:

— Значить, начинается?..

«Продолжается!» поправил я его мысленно и вынесенная вера в стойкую надежность «фронта», оставляемого нами ради «кисельного» тыла, как-то остро и больно тревожила совесть.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ.

Поездка на фронт произвела на меня глубокое впечатление. Окунувшись снова в сутолоку повседневной адвокатской жизни, сталкиваясь с множеством людей, поглощенных исключительно своими личными, не всегда почтенными интересами, улавливая нетерпеливое настроение тыла, жаждущего, как можно скорее, отделаться от повседневных неудобств, сопряженных с продолжением войны, чуя, наконец, что, под шумок, всюду ведется настойчивая революционная пропаганда, по трафарету 1905—1906 годов, и сознавая, что, на этот раз, ее результаты могут быть гораздо острее, я переживал мучительные часы ночной бессонницы.

Оторванный в течение дня неотложной текущей работой, казавшейся мне теперь пустой и ненужной, мой мозг начинал, обыкновенно тревожно работать ночью, когда лежа в постели я, тщетно, силился уснуть.

Прямой уверенности в том, что не пройдет и двух месяцев, как все вокруг развалится, и прахом пойдут все жертвы и успехи родины в этой беспримерной войне, конечно, у меня не было, но какое-то гнетущее предчувствие огромной беды меня уже не покидало.

Все этому способствовало.

Шептуны, более чем когда-либо, шептали и предрекали. Государственная Дума эффектнее, чем прежде, пускала фейерверки своих трескучих словоизвержений, не соображая их ни с моментом, ни с ближайшей государственной задачей. Как крысы, бегущие с обреченного на гибель корабля, уходили все, сколько-нибудь, «приличные» сановники и министры. Тень Распутина, более зловеще, чем когда-либо, витала в закоулках Царскосельского дворца и «прогрессивный паралич» Протопопова, царствовал безраздельно в своем фантастическом величии.

— Пока мы у власти, — отпуская направо и налево, — революция будет подавлена в самом корне, за это я ручаюсь!

И ему твердо верили в Царском Селе; благословляли даже судьбу, пославшую, наконец, России, как раз в нужную минуту, столь просвещенный, имевший и на западе блестящий успех, государственный ум. Государю приписывали следующую фразу относительно выбора Протопопова:

— Чего еще они от меня хотят? Я взял товарища председателя Государственной Думы... Раз он был ими избран, значит Дума ему доверяла и ценила его. Иностранная пресса, в течение его поездки с Милюковым и другими думскими, выдвигала его преимущественно ... Союзники от него в восторге... Кого мне было еще искать? Они не знают сами чего хотят!..

А в это время, бойкотируемый Думой, высмеиваемый в печати, игнорируемый общественными организациями, Протопопов, в действительности, был уже сумасшедшим. Он бестолку носился в Парголово к бурятскому врачу Бадмаеву, бывшему приятелю Распутина, где, как говорят, имел таинственные совещания с «нужными» людьми.

Супруга Протопопова, особа вполне бесхитростная, побывавшая у меня после революции, когда мужа ее заключили в Петропавловскую крепость, передавала мне, что муж ее, в последнее время, страдал и острой бессонницей и непоседливою возбудимостью, и что она консультировала даже, по этому поводу, с известным психиатром,

который объяснял это переутомлением. Одно лицо, служебно-близкое Протопопову, уже после революции, говорило мне, что в последнее время тот все «путал», делал противоречивые распоряжения, забывал о назначенных им же самим аудиенциях и заставлял ждать приглашенных к официальному обеду часами, неизвестно где обретаясь.

Революционный авангард, тем временем, не дремал. Момент слишком благоприятствовал. В руках «оппозиции» был такой отличный козырь: раздуть опасения сепаратного мира, будто бы не только замышляемого, но чуть ли не готового уже к подписи в Царском. Эта версия усиленно пускалась в ход, якобы, ради подъема патриотического настроения обленившегося тыла.

Настоящего войска в Петрограде больше не было. Гвардия, спасшая Париж своим наступлением в Восточной Пруссии, более не существовала. Оставались от нее только, вновь сформированные, запасные батальоны, немногого стоящие.

Но и это было только каплею, в море, по сравнению с массой того призывного, с военной точки зрения, сорокалетнего хлама, который без всякой энергии муштровался на площадях и в переулках Петрограда.

Некоторый недостаток в продовольствии также начинал ощущаться: более, или менее, длинные хвосты уже начинали вытягиваться по улицам у мясных и хлебных лавок.

Люди со средствами, однако, не терпели еще недостатка ни в чем. Пирры еще задавались, и лучшие рестораны изобиловали не только посетителями, но и всем, чем можно было удовлетворить их изысканные аппетиты.

Театры и кинематографы, как всегда, были переполнены. Всюду чувствовалось, что «тыл» не стесняется в средствах. Приток их ощущался и в таких общественных слоях, где раньше они были только в обрез.

А шептуны-предсказатели все накликали неизбежность революции. Они не уставали твердить о полном расстройстве транспорта, и о быстро имеющем надвинуться голоде не только для Петрограда, но и для боевой Северной армии.

Комиссия генерала Батюшина, создание генерала Алексеева, хорошего военного стратега, но весьма недальновидного политика и плохого знатока людей, призванная бороться с «хищниками тыла», сама быстро превратилась в алчного хищника, арестовывая направо и налево, заведомо богатых людей, с исключительной целью наглого вымогательства.

Я совершенно в этом убедился, участвуя в предреволюционном уголовном процессе Манасевича-Мануйлова, в качестве поверенного гражданского истца, графа Татищева, директора Соединенного банка в Москве.

Кстати, по поводу этого судебного процесса, который очень возбуждал и без того возбужденное общественное мнение.

Его раз назначили к слушанию, но тотчас же сняли с очереди.

Пошли толки, что дело вовсе прекращено, по Высочайшему повелению. Об этом, действительно, усиленно хлопотали еще у | Распутина.

Об эту пору, к великому изумлению всего судебного мира, был назначен министром юстиции, на смену «приличного» Хвостова, ожиревший от ночных трапез, на чужой счет, кругом задолженный, беззаботный светский вивер, при нужде: спирить, чтобы угодить

влиятельным старушкам, незаменимый собеседник, Н. А. Добровольский.

Его имели в виду, когда утверждали, что дело будет непременно прекращено, чтобы избежать скандальных разоблачений и дискредитирования власти.

Однако, у мягкотелого и беспрограммного министра не хватило на это храбрости. Он решил еще угодить общественному мнению, и дело было заслушано судом.

О каком-либо правительственном курсе в это время смешно было не только говорить, но даже помышлять.

С каждым новым назначением власть все распылялась и распылялась, превращаясь в нечто абсолютно мифическое. Бедный царь ездил в Ставку и обратно, сжимал в своих объятьях, неразлучного с ним, любимого сына, и — увы! — не чувствовал и не сознавал, что под его ногами уже звучит зловещая пустота. Незримой для него подземной работой пропасть подкопа была уже под его ногами. Еще шаг, другой и уже безразлично, твердый или осторожный, подкоп неминуемо обрушится, и пропасть поглотит его.

Все, кто были наиболее преданны и близки ему, уже были устранены, или сами оставили царя.

Убийство Распутина в великосветской ночной засаде, с цитированием при этом таких имен, как князя Юсупова, великого князя Дмитрия Павловича и монархиста Пуришкевича, и почему-то подозреваемых якобы участников их, таинственных агентов английского посланника Бьюкенена, пробило первую кровавую брешь в Царскосельском гнезде.

«Никому не позволено заниматься убийствами!» — была, будто бы, резолюция Царя на ходатайствах великих князей об отмене высылки великого князя Дмитрия Павловича.

Крылатые слова, ставшие пророческими, так как, вплоть до сегодняшнего дня, «занятия убийствами» являются лозунгом, рассчитанным не на одно всероссийское, но и на всемирное признание.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Убийство Распутина оправдывалось, главным образом, решимостью устранить опасность сепаратного мира. Но и после этого убийства, все осталось по старому. Власть не обновлялась, и те же опасения эксплуатировались по-прежнему. Особенно усиленно ими козыряли «пораженцы» и революционеры. А, между тем, измена союзникам, по свидетельству иностранных военных представителей, бывших неотлучно с Царем в Ставке, и была сущая легенда, быть может пущенная в ход даже самыми врагами, чтобы добиться наконец, давно ожидаемой революции; другими словами, развала нашего фронта.

Ее эксплуатировали на все лады, и, все безразлично всасывавшее в себя болото Российской обывательщины судачило об этом, как о факте, благо сенсация от убийства Распутина, и сопровождавших его сплетен, стала испаряться.

Подземные кроты, шнырявшие прямым трактом из Берлина через Данию и Швецию в Россию, работали теперь, как никогда снабженные неприятельскими деньгами на «дело русской революции».

Но об этой интенсивной подпольной работе не только широкие круги российских обывателей, но и те, кому знать об этом надлежало, полного представления не имели.

Петроград продолжал, пока что, усиленно веселиться и либерально судачить, носясь со стишками по адресу «стоящего у власти» Протопопова:

«Про то Попка знает,  
Про, то Попка ведает»!

Глупые стишки обошли вскоре всю Россию и шарада их тайного смысла услаждала сердца доморожденных патриотов. Гадали еще о том, будет ли предан суду Сухомлинов, бывший военный министр, и при том не иначе как в качестве «изменника», хотя все отлично сознавали, что этот слабовольный рамолик мог быть повинен в чем угодно, только не в измене. Не все ли равно, раз по настроению общества жертва была необходима!

Протопопов долго не решался освободить Сухомлинова от предварительного заключения в Петропавловской крепости, куда его демонстративно засадил Штюрмер, гораздо более Сухомлинова, близкий к измене.

Когда Сухомлинова выпустили из крепости, под домашний арест, стали толковать: «толпа ворвется в его квартиру и растерзает его». Но толпа и не думала о нем. Спекулирующее якобы возмущенным патриотическим чувством искали только предлога подчеркнуть лишний раз наличность измены у самого подножья трона, и пробовали пошатывать и самый трон, правда, выделяя еще самого Царя, но так обидно, что лучше бы не выделяли.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Так работал тыл.

Но с фронта я получал иные вести.

В самом конце января побывал в Петрограде командир полка, который радушно принимал нас на фронте. Он привез мне подарок. На лубке, рисованные красками, виды и сцены бивуачной жизни, с надписью внизу, что это в память моего посещения фронта. Рисовал какой-то чин его полка, и самый подарок был от полка.

Я пригласил полковника к себе обедать и позвал всех товарищей по Совету, не забыв при этом и милейшего моего спутника на фронте, бывшего моего «адъютанта».

Вести с фронта полковник привез вполне отрадные: он держится стойко и, страшно загадывать, но сдастся по всему, что еще два-три месяца и противник попятится, начнет сдавать. И сейчас это уже чувствуется и очень бодрит. Но всех беспокоит тыл, читают газеты, думские речи и ничего в толк хорошенько не могут взять, что тут происходит, чего хотят...

С лучшими пожеланиями проводил я полковника, в тот же день, поздно вечером на вокзал, советуя не думать о безалаберном тыле и держать стойко фронт.

В начале февраля я еще раз имел случай слышать откровенный отзыв относительно настроения нашего фронта из источника, казалось бы, еще более компетентного.

Жена моя, большая поклонница Италии и всего итальянского, организовала в своем особняке, 7 февраля 1917 г. довольно людный раут в честь, недолго гостившей в Петрограде итальянской делегации.

В числе гостей был итальянский генерал Р., постоянно бывавший в

Ставке и на фронте, и дипломат, граф А., только что посетивший Ставку и побывавший, с генералом, на фронте.

Их отзывы вполне совпадали с мнением нашего полковника.

На фронте их всюду, как союзников встречали восторженно, настроение вполне бодрое и уверенность в близкой победе.

По их мнению, летом 1917 г. война кончится. Германия вынуждена будет принять условия мира. В своем отзыве о личности царя они безусловно сходились: «с'est un honnête homme, nous avons pleine confiance en lui»!

Генерал Р. ближе знавший царя к этому прибавлял: «il est charmant, quand on le connaît de près, et tout à fait gentlemen. Aucune idée de trahison ne pourra jamais envahir son âme, on a beau parler des influences qui l'entourent, mais à la Stavka il est bien le maître de soi même».

Должен прибавить, что генерал Р. наш хороший знакомый и отзыв его был абсолютно конфиденциален.

Я привожу все это к тому, чтобы высказать свое убеждение в том, что революция в ту минуту не только не явилась для России актом высшего патриотического напряжения, а, наоборот, доказала отсутствие в ней всякого патриотизма.

Патриотизм, очевидно, слишком мелкая штука, для российской широкой души!

Враги это, в свое время, поняли, учли и, как раз в критическую для себя минуту, использовали.

Сознательные и бессознательные элементы, способствовавшие в этот момент революционному напряжению страны, одинаково преступны перед судом истории.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Когда революционный эксцесс извергается, как лава из кратера огнедышащей горы, предостерегающие явления естественно предшествуют. У нас еще накануне «великой революции», т. е. глубочайшего переворота для всей России, явных предзнаменований того, что должно было случиться, для непосвященного в подпольную работу еще не обнаруживалось.

Широкая публика ничего не подозревала.

26 февраля, в субботу, состоялся, много раз откладывавшийся, по случаю запоздания в изготовлении художником Головиным декораций, юбилейный бенефис драматического артиста Ю. М. Юрьева.

Зал был переполнен избранною публикою. Лермонтовский «Маскарад» обставленный с небывалою, даже для Императорского театра, роскошью, в Мейерхольдовской постановке, переносил зрителей в область, чуждую тревожностям дня, чуждую политике, всецело погружая душу в круг личных, интимных страстей и переживаний.

Отдыхали глаза, наслаждался слух чудным Лермонтовским стихом и уличная суতোлка еще не врывалась в театральное зало, как это неизбежно случалось два-три дня спустя.

Бенефициант был в ударе и ему много аплодировали. Когда его чествовали при открытом занавесе, режиссер подал ему первым «подарок от Государя Императора», второй «от вдовствующей Императрицы Марии Федоровны». Оба эти подношения удостоились бурных оваций, одинаково демонстративных и по адресу бенефицианта и по адресу



царственного внимания к русскому заслуженному артисту. Отмечали только, что государыня Александра Федоровна, не посещавшая русский драматический театр, и вообще редко показывавшаяся публично, ничем не откликнулась.

Случилось так, что и на другой день мы были в театре. На этот раз в Мариинском, где был наш абонемент в балете.

Днем у моей жены были визитеры, главным образом, из военных. Разговоры были характерные. Заезжий провинциальный «уполномоченный», бывший кирасир, редко наезжавший в Петроград, возбужденно толковал: «говорю вам и казаки в рабочих стрелять не будут, о солдатах и говорить нечего. Я побывал в военных кругах Петрограда, против Думы никто, не пойдет!»

В это время усиленно поговаривали о том, что Дума, по высочайшему повелению, распустят и что она решила добровольно этому не подчиниться.

Другой военный, бывший лейб-улан, теперь штабной, возмущаясь этим, все-таки возлагал надежду на казаков и советовал «уполномоченному» не болтать вздора.

Артиллерийский полковник, стоявший со своей вновь сформированной батареей в Петергофе, приехал на воскресенье в Петроград, чтобы побывать в балете и не хотел верить ни роспуску Думы, ни серьезным военным столкновениям.

Под вечер Полковник Б., состоявший уже при четвертом министре внутренних дел (начиная с Хвостова) «для поручений» телефонировал нам и дружески советовал не ехать сегодня в балет, особенно в автомобиле, так как кое-где предвидится стрельба, толпа может нагрянуть и в освещенный а *giorno* Мариинский театр.

— У страха глаза велики! — решила жена, подбодренная спокойствием артиллерийского полковника и бывшего лейб-улана, приглашенных к нам в ложу. Обнаружить заранее трусость казалось ей позорным и мы поехали, и, притом, как всегда, в автомобиле.

По дороге, на Дворцовой набережной встречали конные наряды казаков, но в общем все, казалось, было спокойно; выстрелов не слышали. Говорили, что на Выборгской стороне идут столкновения рабочих с полицией и казаки, будто бы уже, хлещут встречных нагайками.

В зале театра, несмотря на первый, самый балетоманский абонемент и участием выдающейся балерины, было пустовато. Ясно было, что страх уже обвевал театральные завсегдатаев. К Кюба ужинать после спектакля, как бывало раньше, не поехали.

Военные спешили восвояси: один в Петергоф, в своей батарее, другой в Главный Штаб за вестями.

Обратный путь к дому совершили еще благополучно, заметили только, что Морская и Невский проспект необычно пустынный. В такой час они обыкновенно еще кишели народом.

Кто-то в театре передал пущенный по городу слух, что будто бы, на чердаках домов, всюду расставлены полицией пулеметы, Вероятно, этот слух и разогнал публику.

На следующий день и в последующие два дня, революция была уже в полном ходу.

Понеслись по городу автомобили, наполненные вооруженными бандами солдат, с красными отметинами.

На окраинах и мостах, ведущих к окраине, завязывались настоящая

сражения. Из тюрем выпускали уже арестантов. Горело здание Судебных Установлений, сжигались судебный и прокурорский архивы, уничтожалось делопроизводство, расхищалась касса.

С опасностью для жизни, бывшие в здании суда адвокаты спасали ценные портреты наших старейшин, украшавшие комнату совета присяжных поверенных.

У Таврического дворца, где собралась Государственная Дума, войска, переходившие на сторону Думы, образовали компактную охрану и явились ядром, бесповоротно решившим судьбу России.

По Знаменской улице, мимо наших окон, носилась на открытых автомобилях вооруженная молодежь из студентов, рабочих и гимназистов; к ним примыкали девицы в наряде сестер милосердия.

Уже к вечеру первого дня было ясно, что мечты Протопопова о подавлении революции не осуществились. Сам он, через черный ход, сбежал из своей министерской квартиры, пока толпа врывается в соседнее помещение департамента полиции, чтобы громить его. Некоторое время он укрывался у знакомого зубного врача, но тот побоялся дольше держать его и он явился «сдаться» в Думу.

Городовых, тем временем беспощадно убивали. Полицейские дома и участки брали приступом и сжигали; с офицеров срывали ордена и погоны и обезоруживали их; протестовавших тут же убивали.

К нам во двор вечером пришли «брат автомобиль». Перепуганный шофер скрылся, но автомобиль пришлось выдать, так как банда была вооружена и его взяли бы силой.

В соседних домах автомобили и оружие забирали всюду, и налеты эти сопровождалась обыкновенно победными выстрелами.

Мне передавали, что в группе молодежи, отбивавшей мой автомобиль, кто-то сказал:

— Тут не надо стрелять, зачем беспокоить Н. П.! — назвал меня кто-то по имени и отчеству.

Кто был этот благодетель: студент, рабочий, или помощник присяжного поверенного?.. Тщетное любопытство... Тогда все перемешалось.

На соседнем дворе убили дворника за то, что он не сразу раскрыл ворота. Лазили по чердакам, все искали пулеметов и оружия.

К нам, с обыском, в особняк, милостиво не пришли, спросили только у дворника: не ставила ли полиция пулемета на чердак. Поверили на слово, что пулемета не имеется.

Легенда о пулеметах на чердаках домов сыграла вообще не малую роль.

Была ли верна подобная версия, или это была только провокационная сказка, не берусь решать. Но рассказ относительно пулеметов давал отличный повод обстрелять любой дом и забраться в него с самыми разнообразными целями и намерениями.

Жертв революции, т. е. убитых, по крайней мере, в первые дни, было мало (городовые, которых беспощадно убивали, конечно, не в счет), почему ее прославили даже «бескровной», впоследствии она выросла уже в «великую».

Власти, войско, полиция, все что призвано охранять «существующий порядок» сдало страшно быстро. Пошла настоящая феерия. Ко дворцу Государственной Думы стали стекаться толпы, как толпы правоверных в Мекку.

Тут был центр, гвоздь, Синай и таинственные еще пока, под облачной

завесой, сжимали «нового завета».

Имя Родзянко было на всех устах. Одна из наших горничных, Марина, недалекая, но считавшая себя образованной, потому что вела знакомство с «распропагандированным» писарем из штаба, вечно бегала к Думе и приносила в буфетную новости.

— Как Родзянко только показался сейчас ему «ура» по всей площади... Милюков тоже нынче говорил, про проливы поминал, ему в ладоши хлопали...

Только ленивый не говорил тогда перед Думой и всех «одобряли» одинаково. Раз Марина выпалила и такую новость: — А хорошо, если бы Вильгельм согласился царствовать над нами... Он умный не то что наш!

Наконец, пришла весть об отречении царя.

В первую минуту, как будто, все ожили: вступит на престол Михаил, будет конституция, будет ответственное министерство, фронт не развалится, все пойдет своим чередом спокойствие восстановится.

Не тут-то было.

«Прозорливые» вожди революции убедили В. К. Михаила отказаться, впредь до созыва Учредительного Собрания. Говорили, что Керенский и Набоков запугивали его, уверяя, что он тотчас же будет убит.

У менее прозорливых тут уж совсем руки опустились.

Выходя на улицу все нацепляли красные банты и ленточки; особенно старательно обезоруженные офицеры.

Я и мои близкие этим не согрешили.

Было противно тотчас же перекрашиваться.

Великие князья, по очереди, спешили засвидетельствовать свое почтение перед революцией. Командир флотского Гвардейского Экипажа В. К. Кирилл Владимирович сам привел свой экипаж в Думу для присяги Временному Правительству. В. К. Николай Михайлович носился по городу в штатском платье и имел сияющий вид. Окончательно олиберализившиеся тем временем газеты беспощадно хлестали «лежачего», отрекшегося Царя, выливая на него и на его семью ушаты грязи, перетряхивая всю распутиновщину и сдабривая ее пикантной ложью.

Иначе, как на «демократической республике» никто уже не хотел мириться.

«Великая» разыгралась во всю.

Запах крови, аромат пожарниц и падали убитых лошадей уже давал себя всюду чувствовать, вместе с плевками, лужаемых бродячими солдатами семечек, в ожидании спасительного Учредительного Собрания.

В какие-нибудь три дня, Петроград стал неузнаваемым. Это была уже не щеголеватая, когда-то, столица, а базарная, загрязненная площадь, на которой отныне должна была пойти бойкая торговля судьбами России.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Часов в 10 утра, 3-го марта, меня вызвали к телефону.

— Кто говорит?

— Н. П., с вами говорит министр юстиции, А. Ф. Керенский. Сегодня в ночь сформировано Временное Правительство. Я взял портфель министра юстиции ...

— Поздравляю вас.

— Н. П., забудем наши разногласия. Вы, должны помочь мне сформировать состав министерства и Сената... Я хочу поставить правосудие на недостижимую высоту ...

— Прекрасная задача!

— Не можете ли вы собрать ваших товарищей по совету сегодня же ? Я хотел бы посоветоваться, чтобы наметить кандидатов...

— Помещение нашего совета погребло при пожаре здания Судебных Установлений.

— А вы не хотите принять меня у себя!

— Буду рад, если это устроит: в котором часу?

— После трех, можно?

— Буду ждать.

Перезвонившись с делопроизводителем, я распорядился оповестить членов совета, и просил их собраться к трем часам, у меня, в помещении моей канцелярии.

К трем часам, почти все, находившиеся в Петрограде, товарищи по совету были в сборе.

«Определенно-левые» ликовали. Остальные, в том числе и я, без энтузиазма, принимали совершившийся факт, с твердым намерением помочь правосудию удержаться на должной высоте.

Общим оттенком настроения, было изумление перед столь быстрой сменой декораций. На это, по-видимому, не рассчитывали наиболее оптимистически настроенные вожди революции. Члены Государственной Думы, решившие не подчиняться приказу о роспуске Думы, имели при себе, как говорят, яд, на случай неудачи и захвата их правительственными силами, что представлялось им довольно вероятным.

В 3 часа в мою канцелярию, без доклада, суетливо проник громоздкий, но озабоченно-подвижный, граф А. А. Орлов-Давыдов, член Государственной Думы, какими-то таинственными, психологическими нитями, очень привязанный к Керенскому.

Оскандаленный на всю Россию недавним судебным процессом артистки Марусиной (Пуаре), умудрившейся, несмотря на свои пятьдесят лет, развести его с женой и женить на себе, подсунув ему якобы рожденного ею от него ребенка, граф, последнее время повсюду, неотступно следовал за Керенским, возил его в своем автомобиле, при чем сам ездил за шофера и, вообще, приписался к нему в адъютанты.

Правда, сам Керенский, в свое время, не отказал ему в интимной услуге: стать рядом с камердинером графа, в качестве второго шофера, при таинственном венчании графа с мнимой матерью его мнимого будущего младенца.

Эта пикантная подробность, случайно всплывшая при судебном разбирательстве, дала повод неугомонному Пуришкевичу однажды прервать в Думе запальчивую речь Керенского неожиданным восклицанием: «да, замолчи же, шофер!»

Потешник Пуришкевич имел в то время успех Думского клоуна и все ему сходило с рук. Почуввав, однако, что надвигаются более серьезные и ответственные времена, он вовсе уклонился от участия в думских заседаниях, работая весьма успешно на фронте со своим образцовым питательным отрядом и вынырнул вновь на «политическом поприще» уже в качестве трагического персонажа.

— Здравствуйте, что скажете? — Встретил я графа, которого знал

хорошо, так как был одно время его адвокатом.

— Я от Александра Федоровича... Он просил меня предупредить вас, что немного запоздает, его задержали в Думе... Вы мне позволите дожидаться его у вас... Я должен потом ехать с ним...

Я провел графа в соседнюю комнату и он расположился там курить и терпеливо ждать.

Довольно скоро после этого, в передней послышалось движение. Швейцар суетливо распахнул двери моего рабочего кабинета, где заседали мы, и в него быстрыми шагами вошел Керенский. Он был в черной рабочей куртке, застегнутой наглухо, без всяких признаков белья. За ним следовал молодой присяжный поверенный Д. в военно-походной форме, как «призванный», работавший в какой-то военной канцелярии.

Керенский отрекомендовал нам его, как «офицера для поручений» при нем, министре.

Граф Орлов-Давыдов не выдержал и высунул, свою, густо обросшую волосами, любопытствующую физиономию из двери, чтобы насладиться зрелищем.

От имени Совета присяжных поверенных я приветствовал нового министра юстиции, высказав ему пожелание быть стойким блюстителем законности, в которой так нуждается Россия.

Он отвечал тепло и искренно, называя нас своими «учителями и дорогими товарищами», после чего облобызался с каждым из нас.

Мы усадили его в кресло. Одну секунду он был близок к обмороку. Я распорядился подать крепкого вина, и он, глотнув немного, оправился.

Я сидел рядом с ним и дотронулся до его похолодевшей руки. Он крепко пожал мою.

Какая-то глубокая, затаенная жалость в эту минуту мирила меня с ним.

— Уже закружилась голова, — подумал я, — что-то будет дальше!..

— Я устал — ужасно устал! — как бы отвечая на мою тайную мысль, окончательно очнувшись, начал Керенский. — Три ночи совершенно без сна... За то свершилось... Свершилось то, чего мы даже не смели ждать...

Партийные его товарищи, а их было несколько в составе совета, тотчас же стали спрашивать о подробностях формирования Временного Правительства.

Керенский перечислил всех, при чем отметил, что самым радикальным является он, министр юстиции и генерал-прокурор, и что в деле правосудия не будет места никаким компромиссам, за это он ручается. Основательную «чистку» именно надо начать с нашей юстиции. Сенаторы и судьи несменяемы; он, конечно, высоко ценит этот принцип, но с большинством, не нарушая принципа можно будет справиться... хотя бы путем предложения повышенных пенсий...

— Александр Алексеевич, нам это устроит, не правда ли? — обратился он с этими словами к члену совета Демьянову, бывшему тут же, и продолжал. — Я назначаю Вас, А. А., директором департамента Министерства Юстиции по личному составу... Надеюсь, вы соглашаетесь... Господа, вы одобряете?..

Никто не возразил, в том числе и сам Демьянов.

А. А. Демьянов, очень милый и мягкий, несмотря на свою яркую партийность, человек, был из адвокатов, делами не заваленных, и в качестве члена докладчика, по советским делам, отличался значительной ленцой, с вечными затягиваниями по изготовлению решений в

окончательной форме.

Иных отличительных черт его мы не знали.

— Н. П. — порывисто обратился ко мне Керенский, — хотите быть сенатором уголовного кассационного департамента? Я имею в виду назначить несколько сенаторов из числа присяжных поверенных...

— Нет, А. Ф., разрешите мне остаться тем, что я есть, адвокатом, — поспешил я ответить. — Я еще пригожусь в качестве защитника...

— Кому? — с улыбкой спросил Керенский, — Николаю Романову?..

— О, его я охотно буду защищать, если вы затеете его судить. Керенский откинулся на спинку кресла, на секунду призадумался и, проведя указательным пальцем левой руки по шее, сделал им энергичный жест вверх. Я и все, поняли, что это намек на повышение.

— Две, три жертвы, пожалуй, необходимы! — сказал Керенский, обводя нас своим, не то загадочным, не то подслеповатым взглядом, благодаря, тяжело нависшим на глаза, верхним векам.

— Только не это, — дотронулся я до его плеча, — этого мы вам не простим!.. Забудьте о Французской Революции, мы в двадцатом веке, стыдно, да, и бессмысленно идти по ее стопам...

Почти все присоединились к моему мнению, и стали убеждать его не вводить смертной казни в качестве атрибута нового режима.

— Да, да! — согласился Керенский. — Бескровная революция, это была моя всегдашняя мечта...

Выбор двух товарищей министра прошел довольно быстро. Было ясно, что только признак явной принадлежности к его политической партии улыбался новому министру, причем и из этого круга лиц он старательно обходил имена; сколько-нибудь яркие.

Обычная ошибка всех, так или иначе, добравшихся до власти: боязнь сколько-нибудь сильных людей подле себя — подумал я, после того, как предложенная мною кандидатура прис. повер. Тесленко из Москвы и М. В. Бернштама, из Петрограда, были им мягко отвергнуты.

В конце концов, в товарищи министра юстиции попали два хороших человека и не дурных юриста, но, с моей точки зрения, абсолютно не пригодные для предстоящей определенно-быстрой, не терпящей отлагательства, работы. Оба были, скорее, тяжкодумы, с невинною склонностью к неторопливому, о хороших вещах, собеседованию.

Прокурором Петроградской Судебной Палаты кто-то предложил Переверзева. Я попробовал отстоять его, расхвалив его деятельность на фронте, и сказал: «оставьте его на фронте, пусть он носится там на коне и творит хорошо налаженное дело». Но Керенский уже ухватился за предложенную кандидатуру: — «Пусть носится на коне здесь!.. Это для прокурора от революции будет даже эффектнее. По вашим же словам он энергичный».

— У него энергия мирная, какая идет брату милосердия, для прокурора нужна другого сорта энергия, нужен и опыт и навык, попробовал я еще.

Кандидатура Переверзева была принята. Побеседовали мы еще с полчаса и напились чаю. Керенский, между прочим, нам объявил, что завтра он, в качестве генерал-прокурора, отправится в Сенат для объявления об отречении царя и об образовании Временного Правительства, о чем должно последовать сенатское определение для опубликования.

— А если они (т. е. сенаторы) вас не признают, так как царь, при

своем отречении, указал на своего преемника?!.. — и заметил я.

— Тогда мы, — трогая большим пальцем свою грудь, — их не признаем! — лаконически отрезал Керенский.

Относительно ближайшей деятельности министерства юстиции он посвятил нас в свои планы. Будет немедленно образован целый ряд законодательных комиссий для пересмотра и исправления законов уголовных, гражданских, судопроизводственных и судоустройственных, причем положение об организации адвокатуры, должно расширить ее автономию и обеспечить полную ее независимость.

Из ближайших законодательных декретов: еврейское равноправие во всей полноте и равноправие женщин, с предоставлением им политических прав. Наконец, не терпящее ни малейшего отлагательства, учреждение особой, с чрезвычайными полномочиями, следственной комиссии, для расследования и предания суду бывших министров, сановников, должностных и частных лиц, преступления которых могут иметь государственное значение.

— Председателем этой комиссии я решил назначить московского присяжного поверенного, Н. К. Муравьева, — продолжал Керенский оживляясь от мысли о том, сколько благого им уже предназначено.. — Он как раз подходящий. Докопается, не отстанет пока не выскребет яйца до скорлупы. К тому же и фамилия, для такой грозной комиссии, самая подходящая...

Трепетал же перед Муравьевым Виленским и перед министром юстиции Муравьевым, пусть и наш Муравьев нагонит им трепета.. .

На прощание Керенский, как бы уже окрыленный оказанным ему дружеским приемом, снова расцеловался с нами.

Граф Орлов-Давыдов, выскочил из своей засады и, опередив Керенского, помчался к подъезду.

Оставаясь с товарищами в продолжавшемся еще нашем заседании, я не видел дальнейшего, но домашние рассказывали, что у подъезда собралась кучка любопытных, приветствовавшая Керенского при его появлении. Тут были дворники и прислуга нашего и соседних домов, и случайно остановившиеся прохожие. Керенский, стоя в автомобиле, произнес им краткую речь, начав ее словами «товарищи». Граф Орлов-Давыдов, взгромоздившись в автомобиль, отстранил шофера и сам стал управлять им.

Словоохотливая наша горничная Марина, все воспринимавшая, знавшая графа, как бывавшего у нас раньше, побывав на митингах у дворца Кшесинской, принесла в буфетную новость:

— «объясняли так, что князя и графья, заместо дворников, улицы будут мести... Наш графчик не даром к самому Керенскому шофером подсыпался... Метлы в руки брать охоты нет»!...

## ГЛАВА СОРОКОВАЯ.

Стоит ли описывать, что было дальше?..

В здании министерства юстиции, во всех углах, и утром, и по вечерам, заседали комиссии. Либеральные профессора-юристы наслаждались в них своим собственным, долго сдерживаемым красноречием. Уголовники Чужбинский и Люблинский, побивали в этом отношении все рекорды, не уступал им только, все еще красноречивый, А. Ф. Кони, который, после переговоров с Керенским, согласился принять

должность Первоприсутствующего Сенатора в Уголовном Кассационном Департаменте.

Товарищ нового министра, А. С. Зарудный, председательствуя, руководил прениями, не отказывая и себе в удовольствии высказывать свое мотивированное суждение по поводу каждого высказанного мнения. Общая комиссия подразделялась на специальные, а эти последние на подкомиссии и на бюро докладчиков.

Кто только в них не заседал. Тут были и вновь испеченные сенаторы, из адвокатов, и из, бывших прежде в загоне, либеральных судебных деятелей, и вновь назначенные прокуроры и председатели палат и окружных судов и некоторые чины прежнего министерства, зарекомендовавшие себя, так или иначе, либерально. Но адвокаты всюду преобладали.

Кабинет нового директора департамента, А. А. Демьянова, был всегда запружен будущими судебными деятелями, из адвокатской среды, выторговывавшими себе те, или иные назначения. Из среды нашего совета многие ушли: Винавер, Кн. Андроников Гуревич, Шнитников и Н. Д. Соколов сделаны были сенаторами. Последний, Соколов, ходил уже распутивши все свои перья, появлялся всюду на минуту, причем всюду о нем докладывали: «Сенатор Соколов». Нигде, он не засиживался, но, направо и налево, сыпал своими директивами и указаниями и отъезжал затем дальше, развалиясь в придворном экипаже, или казенном автомобиле.

Остались вполне верными, совету и адвокатуре только Н. В. Благовещенский, Н. Н. Раевский и я, в качестве председателя совета.

Мы были завалены работой по приему, отбивших свой стаж, помощников-евреев в присяжные поверенные, относительно которых было снято прежнее процентное отношение.

Они очень спешили, опасаясь, что новый строй долго не удержится, и они не успеют обратиться в полноправных адвокатов.

В работах министерских комиссий, Керенский лично не принимал участия, но раз он выступил с программною речью в общем собрании всех этих комиссий.

Появился он с помпой, в сопровождении двух, очень молодых военных адъютантов, которые став по его бокам, старались выразительно делать «стойку», поднимая и опуская глаза в том же темпе, как делал это он, произнося свою речь.

Я с А. Ф. Кони иногда невольно переглядывались при грубых «lapsus-ax», в юридических экскурсиях нового министра. Но тон его был искренен и благие намерения очевидны. Он требовал немедленного устранения всех дефектов, частью устарелого, частью испещренного тенденциозными новеллами законодательства, и все это в возможно ближайший срок. Он хотел, чтобы к созыву Учредительного Собрания, все проекты были бы уже выработаны.

Его проводили аплодисментами.

Наряду с этим, административный строй нового министерства был и остался в хаотическом состоянии. Самый внешний вид, когда-то аккуратно содержимого, помещения выглядел теперь неряшливо, чему немало способствовали загрязнившиеся красные тряпицы, развешанные кое-где, в виде революционных эмблем.

Курьеры и сторожа бестолково мыкались от двери к двери, не понимая кого нужно просителям, которые толпились массами в



министерских коридорах и расходились, не добившись толка.

Все, вместе взятое, производило впечатление какого-то временного пристанища пришлых людей.

Почти такое же впечатление получалось и при посещении других правительственных учреждений и канцелярий.

Мне случилось быть на Мойке в доме бывшего военного министра, где принимал теперь Гучков. Та же картина. Только сам новый министр в огромном, аккуратно прибранном, кабинете, производил, в противовес растерянности чинов министерства, впечатление некоторого, отчасти даже философского, спокойствия. Он выслушивал всех внимательно и, тотчас же, довольно находчиво, клал свои резолюции.

Я лично знал его, и он со мною пооткровенничал.

— Вот, как видите... Я без охраны. Каждую минуту могут ворваться, убить, или выгнать отсюда... К этому надо быть готовым.

Своим мужеством он подкупил меня. Я сочувственно пожал ему руку.

В Министерстве Иностранных Дел, где принимал теперь Милюков, традиции оказались сильнее революции. Все было мертвенно чинно и пустынно.

Я имел у нового министра аудиенцию в качестве «председателя чрезвычайной комиссии по расследованию германских зверств и нарушения правил и обычаев ведения войны». Назначение это я принял, после отставки сенатора Кривцова, причем поставил условием, чтобы должность эта не была сопряжена с сенаторским званием, так как я желал оставаться присяжным поверенным.

Труды комиссии переводились и на французский язык и рассылались всем союзным дипломатам. По поводу намеченного мною издания и литературной обработки вновь собранных данных я и должен был беседовать с Милюковым.

Настроение нового руководителя нашей внешней политики было радужное, в себе уверенное. Он, казалось, уже предвкушал плоды победы...

План моих работ до комиссии он одобрил и поощрил меня к скорейшему выпуску нового издания, которое я хотел озаглавить: «Горе побежденным».

При выходе из его кабинета я столкнулся с английским посланником Бьюкененом. По словам, лично мне знакомого дежурного чиновника министерства, где весь состав служащих оставался прежний, Бьюкенен ежедневно бывал здесь и по часам беседовал с Милюковым.

Новый министр иностранных дел, погруженный в мечты о проливах и Босфоре, чувствовал себя на своем посту, как дома. Он и помолодел и приосанился.

По-видимому, ему и на ум не приходило, что не сегодня, завтра, «улица», его уберет с гамом и криком, с бряцанием оружия, согласно вражеской директиве и ему ничего больше не останется, как находчиво скаламбурить: — «не я ушел, а меня *ушли*»!

Пришлось мне проникнуть и в кабинет председателя Временного Правительства, министра внутренних дел, князя Львова. Очаровательное впечатление производила его личность и, вместе с тем, тревожные опасения, что он не на своем месте, проникали в сознание.

Самое помещение на площади Александринского театра казалось уютной, барской стариной, с своими, аккуратно расставленными, пузатыми креслами, диванами и стульями. Оставаясь в нем не хотелось

верить, что за его стенами все уже беспорядочно, взбаламучено, заплевано и безнадежно растерзано.

Сам князь Львов, на своем посту, отнюдь не имел вида ликующего представителя нового, победного режима. Какая-то сосредоточенно-покорная грусть, казалось, проникала уже все его существо. Движения и слова его были медленны и как-то застенчиво-сдержанны, точно их каждую секунду кто-нибудь намеревался грубо прервать.

Когда зашла речь о Керенском я высказал откровенно о нем свое мнение. Князь на это задумчиво промолвил:

— Вы хорошо его знаете, ведь он из вашего адвокатского круга... Вы верно судите: он был на месте, со своим истерическим пафосом, только пока нужно было разрушать. Теперь задача куда труднее... Одно истерического пафоса не надолго хватит. Теперь и без того кругом истерика, ее врачевать надо, а не разжигать!..

Когда, уехав временно, летом 1917 г. в скандинавские страны, для опроса наших интернированных здесь военнопленных относительно их пребывания в германском плену, я был уже в Копенгагене и прочел известие о выходе князя Львова из состава Временного Правительства и о том, что заместителем его в должности председателя является никто иной, как тот же Керенский, я почувствовал, как луч надежды на скорое восстановление России окончательно погас.

Настоящей, необузданной «истерики» теперь ничто не могло помешать разыграться во всю.

## ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ.

Но пока что, всевозможные комиссии заседали во всю, и утром и вечером. По министерству юстиции, кроме Чрезвычайной Следственной (Муравьевской), я принимал участие почти во всех.

Н. К. Муравьев, прилетев из Москвы, создал, невероятно громоздкую и сложную по своей организации и составу комиссию. Кого он только в нее не привлек! Многие безработные, по случаю истребления пожаром судебных делопроизводств, адвокаты, товарищи прокуроров и следователи нашли в ней свой приют, с повышенным содержанием. Арестовывали направо и налево. Петропавловская крепость вмещала в себя всех бывших министров, сановников, генералов и выдающихся, так или иначе, личностей. Из женщин здесь были Вырубова и жена бывшего военного министра Сухомлинова. Здесь же содержался одно время, заслуженный боевой генерал Н. И. Иванов, недавний галицийский герой, повинный лишь в своей преданности царю.

Остальные тюрьмы и помещения были до насыщения полны чинами полиции, городскими и всяким служилым людом, не изменившим присяге до отречения царя. Ко мне немедленно потянулись скорбные фигуры матерей, жен и сестер арестованных, ища содействия и защиты.

Относительно менее заметных слуг царского правительства мне удавалось сделать многое.

Разбираться во всей этой массе арестованных было предоставлено особому комитету под председательством незлобивого присяжного поверенного М. Л. Гольдштейна. Он делал все, от него зависящее, для освобождения невинных и облегчения участи привлеченных к следствию. Я ежедневно переговаривался с ним по телефону, он понимал меня с полуслова и, в тот же день, я узнавал о результатах моего к нему

обращения.

В бывших полицейских участках заседали теперь в качестве временных комиссаров все больше молодые присяжные поверенные и их помощники.

Однажды я был крайне изумлен таким пассажем: звонок по телефону из окраинного полицейского участка и чей-то голос называющий меня по имени и отчеству:

— Н. П., можно освободить некоего Г. задержанного у трамвая по доносу его бывшего повара, которого он прогнал за пьянство? Повар утверждает что он «шпион», а Г. ссылается на вас, что вы его знаете.

Я ответил на это сообщением всего, что мне было известно о личности Г. и высказал мнение, что подозревать его в шпионстве не имею оснований.

На следующий день моя жена получила от Г. роскошный букет цветов, а я визитную карточку с сакраментальной пометкой: (pour remercié).

С теми, кого уже успели засадить в Петропавловскую крепость, дело обстояло гораздо хуже.

У меня перебивали, в числе других, супруги Танеевы, родители Вырубовой, которую извлекли прямо из Царскосельского дворца и отправили в крепость.

Г-жа Танеева, особа симпатичная и в высшей степени правдивая, глубоко страдала от унижительных притеснений, которые ее дочь претерпевала от караула крепости. В одно из своих последующих посещений, она сообщила мне, что один из караульных заправил уже выманил у нее несколько тысяч рублей, под предлогом облегчения режима содержания ее дочери. Он звонил ей по телефону и назначал ей сумму и место свидания в каком-нибудь саду или сквере. Он перебрал у нее, таким образом, уже более десяти тысяч рублей, но для г-жи Вырубовой от этого не последовало ни малейшего облегчения.

При этом г-жа Танеева умоляла «пока» никому не сообщать об этом, так как опасалась, что если «поднять историю» — ее дочери будет еще хуже.

В это время Переверзев был уже министром юстиции, а должность прокурора Петроградской Судебной Палаты занял харьковский присяжный поверенный Н. С. Каринский, симпатичный и толковый человек.

Я объяснился с последним, оговорив все опасения г-жи Танеевой.

Каринский мне сказал:

— К сожалению ее опасения вполне основательны. Не знаю, как это повелось, но я застал такую картину: караул крепости самовольничает. Он считает себя призванным не только охранять заключенных, но и контролировать распоряжения следственных властей под предлогом опасения контрреволюции. Ваше сообщение я очень приму к сведению, но к этому надо подойти очень осторожно. Как только удастся сменить караульный состав, я тотчас же возбужу уголовное дело по поводу этого вымогательства и остальных...

Это будете отличным козырем в моих руках. Вы переговорили бы также с председателем Чрезвычайной Следственной Комиссии, Н. Е. Муравьевым.

Маленькая бытовая подробность.

Объяснялся я с Каринским в его служебном кабинете Прокурора Судебной Палаты, на Фонтанке, в здании бывшего департамента

полицей, куда, после пожара на Литейной, перекочевали судебные установления.

Когда деловой наш разговор был кончен, Каринский мне сказал:

— Н. П., можно Вас познакомить с моей женой?.. Она большая ваша поклонница... Вчера только приехала, ко мне из Харькова. —

Я, само собою разумеется, выразил готовность, и полагал, что нам придется проехать к нему на квартиру. Но он тут же распахнул дверь в соседнюю комнату, которая оказалась не его канцелярией, как я ожидал, а спальней и, вместе с тем, дамским будуаром, довольно изящно гарнированным.

Двухспальная кровать была покрыта по розовому кружевным покрывалом и в углу дамский туалет, в таких же кружевах, блестел всеми флаконами духов и туалетных принадлежностей. Молодая, сухощавая, довольно элегантная, блондинка, в изящном утреннем капоте, с ондулированной прической на голове, встретила радушно нас. Заметив мое изумление, при виде стольких дамских аксессуаров в «казенном» месте, она поспешила мне объяснить:

— Бедный Коля теперь так занят, его рвут на части... Если бы я не основалась здесь, мы бы вовсе не виделись. Так, не правда ли, удобнее?! Гостиницы у вас в Петрограде переполнены и, надо сказать, довольно плохие, хуже нашего Гранд Отеля... знаете, Проспера в Харькове ...

Визит мой был короток, так как я спешил.

С Н. К. Муравьевым я виделся почти ежедневно, так как он посещал разные законодательные комиссии, в которых принимал участие и я, и председательствовал в нашей «адвокатской» комиссии, которая собиралась у меня.

Когда я поближе узнал его, раньше зная его только по московской репутации неугомонного, в сословных вопросах, инициатора, пришлось значительно разочароваться относительно деятельности его, как председателя Чрезвычайной Следственной Комиссии. Отзывы были единогласны: крайняя бестолковость, при очень сложно затеянной организации комиссии, и беспредельности ее программы.

Люди томились в заключении, а до предъявления им формальных обвинений было еще очень далеко. Только следствие о Сухомлинове считалось «готовым», но это было создание штюрмеровского периода, когда Штюрмер решил, что в качестве бывшего военного министра, можно пожертвовать Сухомлиновым, как козлом отпущения общественному мнению, и этим обосновать, быть может, неотвратимость даже сепаратного мира.

Работы адвокатской комиссии особенно горячо принимал к сердцу Муравьев. Он мечтал об организации всероссийского сословия адвокатов, без разделения по округам, и хотел, не ожидая созыва Учредительного Собрания, провести это путем декрета Временного Правительства, чтобы, в первую голову, иметь готовую хартию адвокатских вольностей.

Я в этом последнем ему не сочувствовал, находя, что имеются общегосударственные нужды, более неотложные.

Но он очень мудрил с этим проектом, разбрасываясь в мелочах и подробностях, невольно, тормозил работу комиссии сложной схемой своих пространственных ораторских выступлений по поводу положений, до очевидности, простых и ясных.

Ближе присмотревшись к тому, как неумоимо, взбудоражено, всегда работал его мозг, у меня получилось впечатление, что, под неизбежным

костяным черепом, мозг его заключен еще в какую-то потайную, узловатую сетку, которая раздражает и давит его. Простая и краткая логическая концепция никак не давалась ему. Мысль его всегда, работала неожиданными скачками, зигзагами и обходами, как бы заранее отвергая математически предрассудок, что ближайшее расстояние между двумя точками есть прямая линия.

По поводу жалоб лиц, близких к заключенным в Петропавловской крепости, я имел неоднократные с ним переговоры. Жены почти всех заключенных перебивали у меня, прося защиты, при чем, справедливо жаловались на то, что их мужей держат уже месяцы без допроса и без предъявления им каких-либо обвинений. Все указывали при этом на крайне дурное, во всех отношениях, содержание в крепости, на грубость и своеволие караульной команды.

Муравьев соглашался со мной, что это очень, печально, но оправдывался ссылками на то, что еще не вполне выработана самая программа следственных задач и приемов комиссии.

— Вы понимаете, понимаете..., пояснял он мне. — Наша работа должна быть работой, так сказать, исторической... Я бы сказал даже: мы должны написать всю историю прежнего режима, чтобы безошибочно выяснить ответственность отдельных лиц.

— Прекрасно, — возразил я, — а живые люди не в счет, подождут пока вы напишете историю...

Н. К. Муравьев, который всегда симпатично и дружески относился ко мне, и тут не изменил себе.

Он участливо спросил меня.

— А как бы вы считали правильным?

— Объявить немедленно общую амнистию для всех повинных лишь в том, что они старого режима и не спешили изменить присяге. И немедленно судить тех, кто действительно повинен в каком либо гибельном для России преступлении.

— Как, отпустить всех контрреволюционеров?! — воскликнул Муравьев. — Что вы, что вы!.. Да их караул не выпустит...

Этим восклицанием я воспользовался чтобы вычитать ему все, что было у меня на душе.

— Контрреволюция, если откуда-нибудь и придет, то совсем не оттуда, откуда вы ее ждете. Весь хлам, который вы держите в Петропавловской крепости, всегда был ничтожеством, и, больше того, чтобы сберечь свое добро и свою шкуру, ни о чем не думает и не мечтает... Что же касается сказанного вами относительно караула, который может их отпустить, или не отпустить, то лучше забудьте вашу обмолвку...

Я бы секунды не оставался председателем следственной комиссии, которая не вправе распоряжаться судьбою заключенных. Действуйте законно и не соображайтесь с остальным.

Муравьев пожал плечами.

— Что вы хотите!.. А в Кронштадте, еще хуже!.. Там и морят голодом и убивают заключенных офицеров, только зато, что они офицеры... Приходится, поневоле, действовать с крайней осторожностью... Я, ведь, не один в комиссии!..

Последнее его указание я принял к сведению, и, в просторном письме на имя комиссии, излил всю горечь адвоката и юриста, по поводу ненормального задержания людей под стражей и, при том в тяжких

условиях казематного содержания, без предъявления им в течении месяцев какого-либо обвинения.

Кое-кого удалось освободить, или перевести в больницы, но это была только капля в море.

## ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ.

В один из ближайших послереволюционных дней у меня побывал адъютант великого князя Бориса Владимировича, задержанного по пути из Ставки и содержимого под арестом в своем собственном дворце в Царском Селе.

— Великий князь поручил мне узнать: согласились ли бы вы принять на себя его защиту?

— В чем же он обвиняется?

— Пока ни в чем... Кажется и не в чем... Но он под строгим арестом. Я как-нибудь сообщу ему ваш ответ, меня уже не допускают к нему...

— Передайте великому князю, что охотно буду защищать его. Надо, однако, надеяться, что дело до этого не дойдет. Я постараюсь разузнать в чем дело.

В министерстве юстиции, после многих справок выяснилось, что арестовали его по «недоразумению». Постарались какие-то добровольцы, решившие, что великий князь, уже по самому своему званию, подлежит революционной репрессии.

Арестовывал в эти дни всякий, кому только не лень было, забегая вперед, чтобы самому не быть заподозренным в сочувствии контрреволюции.

Арест был вскоре снят. И я счастлив знать, что и сейчас великий князь Борис Владимирович где-то в безопасном месте, и что его не постигла участь многих других великих князей, повинных лишь в том, что они родились в этом звании.

К несколько более позднему времени надо отнести усиленные посещения меня женами и матерями морских офицеров, задержанных в Кронштадте матросскими бандами, которые начали творить там суд и расправу самолично.

Участь этих несчастных офицеров скоро стала не только летальной, но, воистину, трагичной.

После многих зверских убийств в Кронштадте, там образовалась своя «Республика» и свой разнузданный, категорический императив по части издевательской расправы над заключенными.

Я не мог молчать и написать в тамошний «совет» или «комиссариат», ведавший арестованными, письмо, в котором, упомянув о своей политической беспартийности, просил допустить немедленно защиту для обвиняемых морских офицеров, без чего никакая расправа над ними не может почитаться справедливою и законною, с точки зрения минимальных требований морали. Подобная расправа пятнит прежде всего тех, кто к ней прибегает. При этом я заявлял, что готов организовать соответствующий состав защиты, став во главе ее.

На это я получил скоро, довольно вежливый ответ. В нем говорилось, что защита при суде, конечно, будет допущена, но что пока это еще преждевременно, так как дела об арестованных морских офицерах находятся либо в стадии дознания, либо предварительного следствия.

Между тем, слухи о жестоких издевательствах и насилиях над

офицерами доходили до меня со всех сторон, и что-то, по истине кошмарное творилось в нескольких верстах от Петрограда.

В это время еще Керенский был министром юстиции и я решил объясниться с ним по этому предмету. Его не так легко было уже заставить теперь и предстояло выбирать для этого подходящую минуту. Частые заседания Временного Правительства, поездки в Царское Село, выступления на митинговых собраниях отнимали у него все время, а в министерстве юстиции принимали его товарищи, оба нерешительные тяжкодумы. Случай мне, однако, помог вскоре с ним увидеться.

Об эту пору уже прибыла в Петроград и была торжественно встречена «бабушка русской революции» Е. К. Брешковская, бывшая моя подзащитная по процессу 193-х. Однажды вечером мне сообщили по телефону, что она проживает в квартире министра юстиции и была бы рада повидать меня.

На следующий же день, в условленное время, после восьми часов вечера, я отправился к ней. Через подъезд с Итальянской улицы я беспрепятственно проник в министерскую квартиру, несмотря на вооруженный караул в прихожей. Министерские сторожа знали меня хорошо и покровительственно расчистили мне путь.

— Вам кого? — Спросил меня один из них.

— Брешковскую.

— А, бабушку!.. Пройдите наверх, там, через бильярдную, прямо... ее и найдете.

Я поднялся по внутренней лестнице, ведущей одновременно и в квартиру и в министерскую домовую церковь, где случалось бывать.

В пустынной бильярдной комнате два мальчика, лет 9—10 катали руками по бильярду шары и щелкали ими вовсю.

Я сообразил, что это дети Керенского и спросил: как найти «бабушку Брешковскую»? Они оба разом указали мне на дверь, с которой начиналась анфилада комнат и младший сказал: «там она и есть!»

Пришлось пройти три комнаты. В первой, проходной никого не было. Во второй, малой гостинной, на низком диванчику, у стены, полулежали две женские фигуры, откинувшись в разные стороны, по виду курсистки, не гладко причесанные.

Я поклонился на ходу, но, кажется, они мне не ответили.

В следующей, обширной угловой гостинной, за большим круглым столом, стоявшим на самой середине комнаты, сидели прямо друг против друга, двое: молодой человек, которого я увидел первым, и потом уже разглядел, по другую сторону стола, совершенно седую, но с черными живыми глазами, упитанную старуху, в которой не сразу признал Брешковскую, когда-то сухощавую и очень подвижную.

Воистину, — бабушка!

«Бабушка» радушно поздоровалась со мною, потрясла крепко мою руку и сказала:

— Ну присядьте же, вот где свиделись... Вас я бы, сразу узнала, правда, я ваш портрет в последнем издании ваших речей видела...

Указывая мне на молодого человека, подле которого на столе были исписанные листы и письменные принадлежности, она мне отрекомендовала его:

— Мой секретарь, записки свои диктую, ведь, многое перевидала. ...

Под низким абажуром мягкой электрической лампы, освещающей только большой круглый стол, в то время, как все углы большой комнаты

оставались в полутьме, было уютно, и воспоминания о прошлом бесхитростно, нескладно, поплелись вперемежку.

Молодой секретарь внимал им с благоговением. Нас прервал только довольно шумный приход, с той же стороны, откуда пришел и я, молодого человека, лет тридцати, в военно-походной форме, жизнерадостного вида.

— Вы не знакомы? — спросила «бабушка». — Мой сын, писатель, Брешко-Брешковский!..

Литературная физиономия писателя Брешко-Брешковского, мне была только отчасти известна, и как-то не вязалась в моей голове с революционной карьерой «бабушки». Тем более трогательным показалось мне их дружеское, по-видимому, уже не первое, свидание.

Материнская ласковость с одной стороны, и почтительный сыновний тон с другой.

Из несложной их при этом беседы помню только, что он сообщил ей об изготовленной им пьесе для синемаатографа, которая будет иметь (или уже имела) большой успех, на что она заметила: «что ж, это очень хорошо!»

Он куда-то спешил и поцеловал ей руку, а она поцеловала его, при этом, в лоб.

Его приход вспугнул наши воспоминания, и я готовился уже встать и откланяться.

В эту минуту в боковых, затемненных дверях, ведущих из внутренних комнат, я заметил фигуру Керенского.

— Я не помешаю? — послышался его голос оттуда. Я пошел ему навстречу, и поздоровался, радуясь, что могу теперь же условиться с ним относительно делового свидания.

— Александр Федорович, мне настоятельно необходимо видаться и поговорить с вами о кронштадтцах... Когда я мог бы?..

— Да, это вопрос настоящий ... Хотите завтра? Может быть вы позавтракаете с нами?.. — как-то нерешительно пригласил он, и тут же прибавил: — потом и поговорим! —

— Охотно, в котором часу?

— Так, в час...

Обратившись к «бабушке», он сказал:

— Записки подвигаются? Хорошо вспоминается молодость...

Тут он и простился с нами, сказав, что едет на «малое совещание» Временного Правительства.

Посидев еще несколько минут с «бабушкой» я приготовился ретироваться. Когда я уже встал и простился с «бабушкой», из той же внутренней двери, откуда появился Керенский, неожиданно вошла его жена, Ольга Львовна Керенская.

Я познакомился с нею в одном из послереволюционных общих собраний присяжных поверенных, в котором она, с моего разрешения, делала сбор в пользу освобожденных «политических», вернувшихся из ссылки. Сбор этот имел успех, и сама она удостоилась шумных оваций.

Очень моложавая на вид, энергичная и подвижная, она производила впечатление плохо упитанной курсистки, нервно и повышено воспринимающей жизненные тяготы. Бледное лицо ее обрамленное светло-русскими, зачесанными к низу волосами, было скорее приятно.

— Александр Федорович, — сказал я ей на прощанье, — позвал меня завтра к вам завтракать ... Вы разрешаете?..

Она посмотрела на меня большими глазами, но тут же как бы



сообразив, что это с моей стороны только «светский прием», довольно тонно, протягивая мне руку, сказала:

— Пожалуйста!..

## ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ.

Ровно в час, на другой день, я входил в столовую министерской квартиры, где шел шумный говор и где все уже сидели за длинным обеденным столом.

Место подле хозяйки, сидевшей на ближайшем от двери крае стола, прямо против мужа, было оставлено для меня.

— Я опоздал?..

— Нет, нет! — воскликнул Керенский. — Мы, по-походному, собрались и сели, так удобнее говорить... Теперь все на лицо, можно подавать...

Я поздоровался только с хозяйкой, с «бабушкой», сидевшей справа от нее, и с Керенским, и сделал затем общий поклон.

Человек двадцать, а то и более, сидело за столом, не считая еще двух сыновей Керенского, которые накануне катали шары в бильярдной и указали мне, где я найду «бабушку». Я перекинулся с ними приветствием.

Ориентироваться в том, в какой я очутился компании и кто именно все эти, мною дотоле, не виденные лица, было не легко. Все говорили разом и расслышать, что говорил каждый из них не представлялось возможности. По их внешнему виду также мудрено было ориентироваться: очень разношерстными они мне показались, хотя общая печать возбуждения и нервности была присуща им всем. Костюмы также не говорили ничего определенного, так они были разнообразны и случайны. Двое-трое были в военно-походной форме, некоторые в рабочих тужурках, на подобие той, в которой теперь всюду появлялся Керенский, но были и обыкновенные пиджаки и даже один черный сюртук, при белом галстуке, сидевший очень мешковато на пожилom, сухощавом, в очках, господине.

Не вступая в общий разговор, или скорее в перекрикивания присутствующих отдельными, друг к другу, обращениями и вопросами, так как это было бы совершенно невозможно, и ограничился беседой с хозяйкой и «бабушкой», подле которых чувствовал себя более уютно.

Только с их слов я понял, что большинство присутствующих «политические», частью только что возвращенные из ссылки, частью вернувшиеся из-за границы, откуда въезд в Россию был для них раньше не безопасен.

Блюда вполне скромного завтрака подавались, довольно нескладно, двумя министерскими курьерами (теперь «товарищами»), одетыми в летние коломянковые тужурки. Вина на столе не было, но был квас и вода.

Пухлые салфетки и вся сервировка напоминали буфет второстепенной железнодорожной станции, да и сами, завтракавшие за одним столом, люди казались сборищем куда-то спешащих пассажиров, случайно очутившихся за общей буфетной трапезой.

После завтрака Керенский мне кое-кого представил.

— Вот прапорщик Козьмин, прямо с каторги! Его мы назначим помощником начальника Петроградского гарнизона. Либо его убьют солдаты, либо он их сломит и заставит идти на фронт, — сказал он

полушутя, полусерьезно, пока я здоровался с сухощавым, с темным лицом, в военной форме не совсем молодым прапорщиком.

Познакомил он меня и с господином, показавшимся мне суетливо-возбужденным, с шевелюрой и бородой, не мало, по-видимому, страдавших от его легкой возбудяемости, так как он часто хватался за голову, и не мало теребил свою бороду.

— Чернов!

Стыжусь сознаться, но, в то время, это имя мне еще ровно ничего не сказало. В последнее время я мало знал состав наших революционных знаменитостей.

С Черновым мы прошлись несколько раз по зале, где все разбились на группы. О чем была наша беседа не вспоминаю, да она как-то все обрывалась... Его бегающее по сторонам глаза и нервные беспокойные движения мало располагали к откровенности. Казалось, что его голова уже упорно чем-то занята и что весь он во власти какого-то нетерпеливого ожидания.

По временам он, как будто, самодовольно потирал руки, на лице его, довольно подвижном и выразительном, распускалось при этом что-то вроде затаенной торжествующей усмешки, как будто он мысленно говорил: «вот, вот, я здесь, я здесь!.. Мы все это узнаем, все устроим, мы тут, мы не даром тут!»

Я пробовал заинтересовать его моими сообщениями относительно кронштадтских зверств и относительно нежелательных эксцессов революции, но его, по-видимому, все это мало интересовало и он никак на мои сообщения не реагировал.

Какая-то своя доминирующая его мозг, идея не давала ему покоя...

Когда к нам подошел Керенский, мне не показалось чтобы они были дружны, или очень близки. Чернов, заложив руки глубоко в карманы своих брюк, также — загадочно-рассеянно, слушал его, как раньше вел беседу со мною.

Я спросил Керенского, когда же мы поговорим о кронштадтских пленниках. Но он уже куда-то спешил и почти на ходу сказал мне:

— Да, да, я об этом подумал и скоро, очень скоро сообщу вам свой план... Простите, надо ехать ... Автомобиль уже ждет.

Все стали расходиться.

Я прошел внутренним коридором в помещение министерства юстиции, где, в одном из больших кабинетов, должна была сейчас заседать комиссия по пересмотру и обновлению устава уголовного судопроизводства, членом которой состоял и я. Ораторский турнир был уже в полном разгаре. Вновь испеченный сенатор, Оскар Грузенберг, нервно и желчно что-то доказывал, а профессор (тоже возведенный в сенаторы) Чубинский сладкопевно, елейно-тягуче ему возражал. Председательствующий, Зарудный, возражал им обоим, и предлагал свою собственную «конструкцию защиты на предварительном следствии».

Все высказывались по этому вопросу, не зная как лучше оградить «права обвиняемого», а во мне, в это время, все горело внутри. Хотелось бросить всем этим застольным юристам жестокое слово негодования по поводу бесплодной траты времени, сил и слов ... бесконечного количества слов.

Обдумывать мельчайшие оттенки и тонкости спасительных благопожеланий, когда кругом царит явное бесправие и грубейшее нарушение самых примитивных основ правосудия.

Жалким фарисейством, постыдным самообманом показалось мне собственное мое участие во всех этих бесплодных комиссиях и когда поднялся еще профессор Люблинский, чтобы «сказать и свое слово», я шумно отодвинулся от стола и поспешно ретировался.

Ведь потом будет еще красноречиво говорить А. Ф. Кони, а там и только что прибывший из своей «чрезвычайки» Н. К. Муравьев; не утерпит и будущей обвинитель четы Сухомлиновых обер-прокурор Носович и, пожалуй, «прибудет» еще со своими директивами сам «сенатор Соколов»...

А после не утерпят и станут возражать и Грузенберг, и Чубинский, и Люблинский... и, в заключение, товарищ министра, Зарудный, не упустит случая «кратко резюмировать», т. е. пространно перефразировать все сказанное... А сказано-то, сказано!.. Если бы собрать всю эту энергию слов, казалось бы гору можно сдвинуть...

Но не только «гора» не сдвигалась, но и, кронштадтская западня не распаивалась и, ежеминутно грозившая подследственным заключенным, мученическая смерть, была единственной организованной для них защитой, о которой велись всё эти тонкие дебаты.

#### ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ.

В самом Петрограде, тем временем, большевистская пропаганда, параллельно с анархической, работала вовсю.

Особняк балерины Кшесинской, дача Дурново и еще кое-где целые усадьбы, по окраинам, были к услугам и в бесконтрольном распоряжении носителей самых черных замыслов. От времени до времени оттуда направлялись по людным улицам Петрограда «мирные» демонстрации вооруженного сброда. Надо было видеть эти лица, с тупым, звериным выражением, чтобы понять, что их в вид «пробы» выпускают для устрашения обывателя, с уверенностью безнаказанности вывешивания таких плакатов, как «смерть буржуям»..., «штык им в живот»..., «долгой капиталистов, попов, офицеров», и. т. п.

Гуманные власти не решались им препятствовать, находя, что это лишь «выражение мнений», которые в свободной стране должны быть свободны. Любопытно было бы видеть, что бы сказали те же «гуманные» власти, если бы по Невскому проспекту двинулась процессия с пением «Боже царя храни?» Или уже это была бы контрреволюция!..

Таким образом, большевистская пропаганда велась совершенно открыто и никто не находил это явлением антигосударственного характера, при котором переход от слова к делу, вполне естественен. Тоже творилось и в Царском Селе и в ближайших к Петрограду местностях.

Кто-то, кого-то расстреливал в Шувалове; где-то пьяные солдаты проткнули штыком мирно возвращавшегося домой присяжного поверенного; кого-то бросили живым в прорубь и он утонул... Убийства, то здесь, то там, совершались ежедневно, и при свете дня, и в ночную пору, и уже никого не удивляли, оставаясь безнаказанными. Всякий преступник мог легко укрыться в любом «анархическом» убежище, особенно надежно на даче Дурново, пробредшей славу совершенно неприступной крепости.

Кронштадт, с каждым днем, с каждым часом, все, более и более, дичал своею безобразною обособленностью, являясь уже почти совершенно отрезанным, от остальной России, ломтем.

Судьба пленных кронштадтских офицеров, обреченных на произвол матроской черни, иллюстрировала наглядно, на всю Россию, бессилие власти Временного Правительства.

Привет «углублению революции» и опасение «контрреволюции» олицетворялись в Керенском с перемежающимся упорством, и, в слепоте своей, он не замечал, что уподобляется игрушечному паяцу, которого дергает по произволу то, или другое, партийное настроение, согласно вражеским директивам.

Каждая новая брешь в первоначальном составе Временного Правительства, обязавшегося довести страну до Учредительного Собрания, свидетельствовала о систематическом натиске на него разлагающих всякую государственность, элементов, преследующих единственную конечную цель революции — захват власти.

Мне пришлось беседовать однажды с генералом Корниловым, бывшим тогда начальником Петроградского гарнизона. Он был в отчаянии. Ему не давали сделать шага, дискредитируя всякую его попытку навести порядок, дисциплинируя войска.

Левые вполне неосновательно подозревали его в тяготении к старому режиму, а «истинно» правые, черносотенцы в том, что он клонит к демократической республике.

Обе стороны стремились к временной анархии, исключительно во имя своих противоположных партийных целей. Одни слепо мечтали: через анархию к монархии, другие через нее же к коммунизму и большевизму.

Корнилов же скромно мечтал лишь о спасении России.

Керенский, с легкомысленным самомнением, не хуже Протопопова, полагал, однако, что так как он «у власти» то все, само собою, «образуется».

После довольно длительного раздумья относительно судьбы кронштадтцев он, наконец, откликнулся. Мне позвонили по телефону из министерства юстиции:

— А. Ф. Керенский просит вас принять товарища прокурора Палаты Х., которому поручено сообщить вам соображения министра по поводу ваших хлопот об арестованных в Кронштадте офицерах.

В тот же вечер был у меня Х., и мы побеседовали.

Моя личная поездка в Кронштадт, в весьма деликатных оговорках, как я понял, исключалась. Она не считалась министром, в виду недостаточно окрашенной моей «левизны», продуктивной и могла бы причинить мне лично неприятности. Но он просил меня рекомендовать «подходящего» присяжного поверенного из молодых, с достаточно «левой» репутацией, который, по моему мнению, мог бы представлять собою петроградскую адвокатуру в той, посылаемой им, министром, в Кронштадт, комиссии, задача которой должна заключаться в расследовании вины задержанных моряков-офицеров.

После некоторого раздумья я остановился на М. Е. Феодосееве. Он был довольно удачный уголовный защитник и умел говорить с толпой; по своему происхождению из морской семьи, знал хорошо быт и нравы морской среды. Но главный его плюс заключался в том, что, не будучи ярко партийным, он побывал в большой, судебной-политической переделке. И он, и жена его фигурировали, при Столыпине, в процессе лейтенанта флота Б. Н. Никитенко, обвинявшегося в организации покушения на цареубийство.

Никитенко, бывший (по первому моему браку) со мною в свойстве,

был повешен, а Феодосьев и его жена (родственница Никитенко) были, за недостаточностью улик, оправданы. Тем не менее, еще до суда, Феодосьев долго протомился в Петропавловской крепости. Я и считал, что такой «послужной список» в глазах «левых», должен иметь свою цену.

Мой выбор оказался вполне удовлетворяющим Керенского.

Следственная комиссия, которую согласились допустить к себе кронштадтцы, должна была действовать под руководством прокурора Петроградской Судебной Палаты, которым, в то время, состоял еще Переверзев.

Работа комиссии, которая заседала публично, на первых порах, казалось, пошла весьма успешно. Некоторых офицеров удалось вовсе отпустить, иных перевести, в качестве подлежащих формальному следствию и суду, в Петроград.

Как мне сообщил Феодосьев, предъявленные к большинству арестованных обвинения, были явно нелепы. Одному ставилось в вину, что он «фанфарон», другому, что он «глуп, а воображает себя умным», третий подозревался в том, что он «контрреволюционер», так как «всегда одевался франтом и носил перчатки» и еще многое в таком роде.

Режим, которому подвергали этих несчастных в сырых и холодных помещениях, по словам того же Феодосьева, который побывал в их камерах, был самый ужасный. Их систематически унижали, заставляли делать самые грязные работы, некоторых били и за малейший протест грозили смертью.

Не успела комиссия пересмотреть «дела» и десятой части арестованных, как притязания на самостоятельность «независимой Кронштадтской республики» вспыхнули с новой силой.

Вооруженные толпы матросов ринулись на площадь морского собрания, где происходили заседания комиссии и заявили требование об арестовании самих членов следственной комиссии. Только находчивость, мягкость речи и митинговый навык Переверзева, дали ему самому, и всем членам комиссии, возможность, уже поздней ночью, по добру, по здорому, выбраться из Кронштадта, чтобы более туда не возвращаться.

Большая часть пленников-офицеров, по-прежнему, осталась во власти расходившихся, пуще прежнего, матросских банд.

## ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ.

Участь отрекшегося царя и всей его семьи, арестованных в Царскосельском дворце, не могла не интересовать всех честных людей.

Я живо представлял себе печальный трагизм их положения и, естественно, интересовался их судьбой.

Непосредственно вслед за тем, как Керенский впервые посетил Царскосельских узников, мне пришлось с ним видеться. Нас было несколько в его кабинете, все товарищей, присяжных поверенных, когда он только что вернулся из Царского Села. Мне показалось, что Керенский был несколько взволнован; во всяком случае, к чести его, должен отметить, что он не имел торжествующе-самодовольного вида.

По его словам, с государем, или, как он называл его, Николаем II-м, он имел довольно продолжительную беседу.

Царь представил ему и наследника.

Кто-то спросил Керенского: правда ли, что наследник упорно допрашивал его: вправе ли был отец отречься за него от престола? На это

Керенский, с усмешкою, сказал: «не думаю, чтобы он меня принял за адвоката. Он со мною ни о чем не консультировал. По-видимому, он очень привязан к отцу . . .»

Относительно государыни он обмолвился: «она во всей своей замкнутой гордыне. Едва показалась, и... приняла меня по-императорски...»

Я поинтересовался знать: как он Керенский титуловал царя.

На это Керенский живо, в свою очередь, спросил меня:

— А как бы вы, будучи на моем месте, его величали?

— Разумеется, «Вашим Величеством», — сказал я с настойчивостью.

— То, что он был царем и царствовал в течение 22 лет, отнять вы у него не можете.

— Я уже не помню, как обмолвился..., — не желая, видимо, ответить прямо, оборвал Керенский затронутую тему.

На самых первых порах, обстановка, в которой содержался царь и его семья, еще носила следы почетного плена и не была слишком стеснительна. Охрана была только вокруг дворца, внутри же пленники могли видаться не только между собою, но и с своею небольшою свитою, оставшейся им верной. Вырубова, до перевода ее в Петропавловскую крепость, бывала неотступно при государыне.

Гучков, в качестве военного министра, начальником внутреннего караула дворца назначил бывшего лейб-улана П. П. Коцебу, старший брат которого долгое время состоял адъютантом великого князя Николая Николаевича.

Светски-дисциплинированный, беспартийно-тактичный Коцебу, своим внимательным отношением к положению царственных пленников, был вполне на месте. Он исполнял свой долг, повинаясь данной ему инструкции, но, вместе с тем, не допускал в своих приемах ни малейшей бравады дурного тона, или непочтительности, чем снискал себе скоро расположение всей царской семьи.

Когда, с уходом Гучкова, его заменили другим офицером (Кароваченко), вся царская семья и сам государь, с ним трогательно простились, а Александра Федоровна, подав ему руку на прощание, которую он почтительно поцеловал, сказала, ему:

— *Nous Vous remercions et Vous souhaitons tout le bonheur. Quand à nous, c'est le dernier rayon de soleil qui s'en va avec Vous. Je le sens bien... Que la volonté de Dieu s'accomplisse!..*

П. П. Коцебу, наш давний, хороший знакомый, нередко бывал у нас. После оставления им Царского Села он кое-чем поделился с нами.

— Ужасно было тяжело! Я поседел за это время, — начинал он обыкновенно свое повествование.

Бывший гвардейский офицер полка Ее Величества, лично известный царю и царице, должен был, в качестве их тюремщика, чувствовать себя, действительно, убийственно. По его словам, он не отклонил возложенной на него миссии только в надежде скрасить, своим присутствием, сколько возможно, участь заключенных.

На первых порах это ему удавалось.

Государь, свалив со своих плеч бремя самодержавия, казался спокойным. Он весь ушел в тихий уют своей семейной обстановки. Дети его обожали, и он сам боготворил их. Со всеми окружающими он был приветлив и ласков и очаровывал всех своею заботливою предупредительностью.

Только одна царица оставалась, по-прежнему, горделиво-

неприступной и теперь уже казалась, какою-то не от мира сего, ушедшею целиком в свою затаенную, далекую от окружающего, думу.

Когда еще Вырубова была при ней, они вдвоем производили впечатление экзальтированных духовидец. Вырубова крестилась перед каждой дверью, перед каждой встречей.

За время Коцебу, т. е. почти на первых порах царского плена, разыгрался следующий эпизод:

В Царское прибыл из Петрограда спешно по железной дороге небольшой отряд каких-то вооруженных, не то солдат, не то добровольцев, предводительствуемый весьма, по-видимому, энергичным «полковником». В их распоряжении было и три пулемета.

Оставив отряд на вокзале, «полковник» отправился во дворец, где вызвал Коцебу для переговоров. Он заявил ему, что, в интересах «углубления революции», установившийся режим содержания царя и его семьи недопустим. Не имеется даже уверенности, что царь уже не скрылся. Он с «товарищами» уполномочено принять охрану царя, препроводив его в Петропавловскую крепость. Коцебу попросил «полковника» подождать ответа, сам же отправился в помещение своего караульного отряда. Здесь он объяснил солдатам о цели появления самовольного, как он полагал, авантюриста, желающего силой захватить царя и спросил их, обещают ли они исполнить свой долг по охране царя и готовы ли, в случае надобности, оружием отразить попытку захватить его.

В числе «товарищей» нашелся один, который вызвался «уладить дело» с «полковником», переговорив с ним наедине. По-видимому, личность «полковника» была ему хорошо известна по каким-то партийным отношениям. Сам вызвавшийся был призывной, из очень красных-непримиримых.

Его переговоры с полковником увенчались для всех неожиданным успехом. Полковник как-то разом сдал, секунду задумался, а затем сказал, что, во всяком случае, должен убедиться, что слухи об исчезновении Николая II-го ложны. Ему должны показать отрешенного царя.

На это предложение Коцебу пошел. Вызвав графа Бенкендорфа, бывшего при царе, он переговорил с ним, и было решено, что государь покажется пройдя коридором, в конце которого будут находиться желающие видеть его.

Когда «полковника» провели в условленное место, под охраной караульных и самого Коцебу, и сообщили, что царь сейчас покажется, он, по словам Коцебу, очень заволновался. За ним зорко стали наблюдать, чтобы он не выхватил из кобуры револьвера.

Государь показался в дверях, выходящих в коридор и довольно долго постоял в них. Затем он медленно пересек коридор и скрылся в противоположных дверях, кивнув на прощание головой.

Минута была полна жуткого трагизма.

Как передавал нам Коцебу, «полковник», при появлении царя, и пока тот не скрылся, все время дрожал, как в лихорадке, и весь изменился в лице. Когда царь скрылся, он молча вышел из дворца и, со своим отрядом и пулеметами, немедленно покинул Царское Село.

— Не была ли это попытка преданных царю лиц захватить его с целью освобождения и, быть может, даже восстановления его царственных прав, под вымышленным предлогом препровождения в Петропавловскую крепость?

Коцебу на этот мой вопрос ответил отрицательно. Личность

«полковника» была ему совершенно неизвестна и не отличалась симпатичностью. Было более вероятно, что имелось, в виду убийство царя, во имя, все упорнее выдвигавшегося тогда, лозунга «углубления революции».

Я расспрашивал Коцебу о том, как переносит царь свое пленение, что говорить о своем отречении, каково вообще его отношение ко всему случившемуся.

Коцебу весьма неохотно вдавался в интимные подробности, тем не менее, однажды обмолвился:

— Я не только преклонялся пред достоинством его поведения, я завидовал ясности его духа и глубокому смирению, с которыми он переносил свои несчастья ...

Отречение он считал актом необходимым для счастья своей страны... Когда я заметил ему, что были войсковые части, которые остались ему верными до конца, государь тотчас же перебил меня словами: «да, все остались мне верными, но после моего отречения им только и оставалось присягнуть временному правительству. Кровь пролилась вопреки моей воле...»

Когда, пошел слух о том, что армия готовится к наступлению на немцев и что в Галиции одержана крупная победа, царь, — по словам Коцебу, — истово перекрестился и сказал:

«Благодарение Богу! Лишь бы эта несчастная война хорошо кончилась для России, все остальное сейчас не важно...»

Однажды Коцебу решился спросить государя: каковы его личные виды и желания относительно его и семьи его дальнейшей судьбы?

Царь на это тотчас же ответил: «мое желание не покидать Россию, но, ради здоровья сына, я предпочел бы поселиться на южном берегу Крыма... Если же мое присутствие в России может вредить государственному спокойствию, переселение за границу я приму, как изгнание...»

И с царицей Коцебу однажды попробовал заговорить на ту же щекотливую тему, он предложил ей: «Ваше Величество, Вы написали бы королеве английской, чтобы она позаботилась о Вас и о детях Ваших».

Александра Федоровна вся встрепенулась, окинула его быстрым взглядом и сказала: «мне не к кому обращаться с мольбами, после всего пережитого нами, кроме Господа Бога. Английской королеве мне не о чем писать...»

Коцебу, подозреваемый в слишком большом мирволении царственным пленникам, вскоре был смнен. На его место, Керенским был назначен Коровиченко, бывший военный юрист, потом присяжный поверенный, во время войны призванный на военную службу. Я знал его довольно близко. Это был симпатичный и мягкий человек, впоследствии растерзанный большевиками в Казани, где он занял ответственный военный пост.

Когда я попенял Керенскому за то, что он удалил от царской семьи Коцебу, который, благодаря своей воспитанности, был здесь на месте, он мне сказал: «ему перестали доверять, подозревали, что он допускал сношения царя с внешним миром. Коровиченко вне подозрений, но он человек мягкий и деликатный, ненужных стеснений он не допустит».

Позднее, когда и Коровиченко кем-то заменили, Керенский, как-то, посмеиваясь, обмолвился: «беда мне с этим Николаем II-м, он всех очаровывает. Коровиченко, прямо таки, в него влюбился. Пришлось убрать. А на этом многие играют: требуют непременно отправить его в



Петропавловскую...»

Я резко заметил: «это была бы гнусность...» — Керенский не возразил, и я тут же спросил его: «отчего временное правительство не препроводит немедленно его с семьей за границу, чтобы раз навсегда оградить его от унижительных мытарств»? Керенский не сразу мне ответил. Помолчав, он как-то нехотя процедил: «это очень сложно, сложнее нежели вы, думаете...»

Когда временное правительство, после значительных колебаний, установило своим декретом отмену «навсегда» смертной казни, я искренно желал, чтобы отрекшегося царя предали суду. Его защита могла бы вскрыть в его лице психологический феномен, перед которым рушилось бы всякое обвинение... А, вместе с тем, какое правдивое освещение мог бы получить переживаемый исторический момент. Нерешительность государя именно в нужные моменты, и, наряду с этим, упрямая стойкость точно околдованного чьей-то волей человека, были его характерными чертами. Будь царица при нем в момент его отречения, отречения бы не последовало.

И, кто знает, не было ли бы это лучше и для него и для России. Его вероятно убили бы тогда же, и он пал бы жертвою, в сознании геройски исполненного долга. Но престиж царя, в народном сознании, остался бы неприкосновенным. Для огромной части населения России феерически быстрое отречение царя, с последующим третинованием его, как последнего узника, было сокрушительным ударом по самому царизму.

Вся дальнейшая, глубоко печальная участь царя и семьи его, которою он дорожил превыше всего, возвышает его в моих, глазах, как человека, почти до недостижимой высоты.

Сколько смирения и терпеливой кротости, доходящих до аскетического самобичевания!

Его прадед, Николай Павлович, не вынес простой неудачи Крымской компании, могущей принудить русского царя к невыгодному для России миру. Он считал это для себя позором, и отравился.

Тут, наоборот, человек, способный, по отзыву всех к нему приближавшихся, чаровать людей, человек сохранивший все свое царственное достоинство при всех неслыханных испытаниях, человек-мученик, мученик до конца, беспощадно убил царя.

В каком виде воскреснет когда-нибудь его образ в народном сознании, — трудно сказать. На могилу Павла I-го до сих пор несут свои мольбы о затаенных нуждах простые люди, и чтут его, как «царя-мученика».

Мученика, может быть, даже святого, признают и в Николае II-м. В русской душе ореол мученичества, есть уже ореол святости.

Но станут ли в нем искать царя?..

И не навсегда ли упала на землю, и по ветру покатилась, по «святой Руси», искони «тяжелая шапка Мономаха»?..

## ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ.

Люди, не хотевшие забыть о России, примирившись с фактом совершившимся, готовы были всеми силами поддерживать Временное Правительство с одной лишь оговоркой: «революция для России, а не Россия для революции»...

Поддержку Керенскому, в этом направлении оказали бы, да и оказывали, все широкие общественные круги. Когда он, уже в качестве военного министра и главнокомандующего, проявлял на фронте много энергии и настойчивости для возбуждения энтузиазма в войске, все честные люди были на его стороне и готовы были верить, что может быть еще спасена Россия.

Но одного истерического словоизвержения, как на фронте так и в Петрограде, куда еще были устремлены все взоры России, было слишком мало, особенно когда, наряду с этим, гораздо более жгучее, насыщенное кровожадными инстинктами, красноречие заливало уже все взбаламученные души бродячего российского воинства. Трагикомическое сопоставление напрашивалось само собой, когда приходилось побывать на «народных митингах», организуемых компанией Ленина и затем перенестись в театральную залу, где почти ежедневно устраивались «концерты-митинги», при участии нередко самого Керенского, его сподвижниками.

Там (у пролетариев) все было классически ясно и просто: «надо только объединиться и двинуться на потоп и разорение России, ибо она еще во власти буржуев, в отношении которых «штык в живот» единственный своевременный аргумент. Только покончив с своекорыстной буржуазией, объединенные пролетарские элементы воссоздадут мир на новых началах всеобщего коммунистического равенства и братства. Пока же задача «товарищей» только расчистить место от обломков старых пережитков. Стань сверхчеловеком: имущих грабь, упорствующих убивай беспощадно. Долой предрассудки морали и религии, которыми буржуазия опутывала народ, чтобы держать его в рабстве».

Изо дня в день все та же отравка, все та же прививка бешенства, брошенной на произвол судьбы, утратившей, с низложением царя, всякую идею о государственной дисциплине, массы.

В театральных же и концертных залах идиллия гастролирующих носителей предвечных освободительных идей, празднующих свержение «тирана».

Все те же, набившие оскомину: Милюков, Родичев, Аджемов, французский гость Альберт Тома и, иногда, истерические вопли самого Керенского, или шамканье «бабушки» Брешковской.

Бешенные аплодисменты, исходящие, по преимуществу, от еврейской интеллигенции, заполнявшей все первые ряды, смакующей свое молодое равноправие. Но, по содержанию речей и выступлений, и бедность мысли и бедность настроения.

Милюков, верный себе, с видом и приемами старшего приказчика, торгующего хорошим товаром ... «Проливы и Босфор» по его мнению, самое нужное сейчас для России.

Говоря это, он с надеждою взирал на ложу дипломатов, где в окаменелых позах, ожидая по своему адресу неминуемых оваций, величественно восседали «заступники» и «союзники» России: Бьюкенен и Палеолог.

Маленький Аджемов, играя брелоками на цепочке своих часов и притоптывая модно обутой ножкой, говорил, однотонно, но весело, о завоевании Россией, путем революции, почетного места среди культурных наций. Родичев, так как не приходилось больше злопахать против царского правительства, изрекал только банальные истины с

обычным напряженным подъемом. Альберт Тома, тот говорил умно, но половина залы его не понимала, хотя с райка иногда ему кричали: «громче»!

Кстати: про Тома сложился анекдот: Уверяли, что когда он покидал Россию, совершенно обескураженный бесплодностью своей миссии, он обмолвился крылатыми словами: «я считаю Николая II-го гением, раз он умудрился править таким народом в течение 22-х лет».

Появление Керенского и «бабушки революции», особенно на первых порах, встречались грандиозными овациями. Но в самом характере, этих оваций чувствовалось не столько преклонение перед их престижем, сколько потребность создания и поддержания, во что бы то ни стало, какого либо престижа.

От участия в этих публичных выступлениях воздерживались, или, вернее, деликатно были устранимы, такие, несомненно, талантливые ораторы, как В. А. Маклаков, О. О. Грузенберг и другие, слово которых не подошло бы под общую мерку партийно-революционного шаблона, но было бы умно и, может быть, продуктивно.

Все, кто продолжал еще здраво мыслить, оказались вдруг недостаточно левыми, и пугало контрреволюции заставляло Керенского страшиться всякой умеренности в мыслях и выражениях

Мне, в качестве председателя комиссии по расследованию неприятельских зверств, практиковавшихся по отношению к нашим военнопленным, удалось дважды принять участие в подобных концертах-митингах, устроенных с благотворительною целью для нужд военнопленных.

На одном, в котором впервые появлялся перед Петроградской публикой незлобивый «анархист», престарелый князь Кропоткин, только что прибывший из Англии, я даже председательствовал. Я и рекомендовал его, при громах рукоплесканий, переполнившей зал Мариинского театра, публики. Добродушно-старческая, милая речь его, заключающаяся в восхвалении дружного энтузиазма наших союзников, и в особенности англичан, порадовала многих, так как иные не представляли себе ране «анархиста» иначе, как в образ зверином.

Моя речь заключала в себе резкое осуждение расплывчато эгоистических групповых вождедений в такую минуту, когда России нужна вся мощь единения, чтобы спастись от позора и унижения. Все ораторы имели одинаковый успех, и заполнявшие всю сцену и кулисы солдаты подбодряли каждого говорившего теми же словами: «правильно»! «верно»!

Но что именно должно было обозначать и «правильно» и «верно» оставалось уже не долго гадать.

Генерал Корнилов, с которым я виделся именно вскоре после этого моего публичного выступления, сказал мне:

— Как было бы хорошо, если бы вы согласились объехать со мною казармы, и там сказали бы свое слово.

Я охотно дал согласие.

Это не состоялось, потому что вскоре Корнилов был смещен.

Когда его место занял генерал Половцев нужны были уже не слова, а действия. На его возлагались большие надежды, И в нескольких пробных случаях генерал доказал полную свою пригодность. Но как раньше генералу Корнилову, так вскоре и генералу Половцеву, стали совать все палки в колеса. Ни «дворца» Кшесинской, ни «дачи» Дурново, главных гнезд все нараставшего большевизма, ему не дали возможности

своевременно ликвидировать, а именно отсюда-то, до перенесения Ленинской штаб-квартиры в Смольный, и шли все директивы по части углубления революции, маскируемые опасением контрреволюции, о которой тогда никто и не мечтал.

Когда в должность министра юстиции, после того как Керенский преобразился в верховного главнокомандующего, вступил П. Н. Переверзев, он в первый же день побывал у меня, как раз в то время, когда заседала наша адвокатская комиссия. Я пригласил его повидать товарищей и воспользовался случаем, чтобы приветствовать его напутственным словом.

Я напомнил ему, что, провожая его на фронт, в качестве заведующего адвокатским санитарным отрядом я назвал его «сердцем нашего сословия».

Теперь я хотел в нем приветствовать волю его, твердую волю утвердить право на смену губительного произвола, уже всюду безнаказанно царящего. В этом долг министра юстиции. Кто не проникся сознанием этого, тот не вправе руководить судьбами страны.

Ответное слово Переверзева было туманно и расплывчато. Никакой руководящей идеи относительно своей будущей деятельности он не обнаружил. Общие фразы осуждения павшего режима и провидение лучшего будущего как-то вяло, без малейшего отношения к текущей тревожной и ответственной минуте, были единственным содержанием его ответной речи.

Когда он оставил нас, мы все глубоко задумались.

Вероятно мы думали одно и то же: «и кого только угораздило в такую ответственную минуту сделать его министром юстиции?»

Нерешительные, робкие шаги Переверзева, его непрерывные мирные переговоры то с «дворцом Кшесинской», то с «дачей Дурново», не только бесповоротно подорвали престиж всякой власти, но стерли и самую разграничительную черту между правом и произволом.

Не более на месте оказался на должности министра юстиции, С. А. Зарудный. Основным грехом первого была его природная мягкость и прекраснодушие. У второго же, наряду с крепостью задним умом, было не мало и бестолковой самоуверенности.

Последним, на пост министра юстиции был выдвинут П. Н. Малянтович, с которого можно было бы начать. Но он пришел слишком поздно, когда все устои закона и морали были уже расшатаны. Директивы Смольного диктовались уже властно.

## ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ.

Не было уже угла в столице, куда бы эти директивы не проникали.

Затянутый поверенным балерины Кшесинской, присяжным поверенным В. С. Хесиным гражданский процесс о восстановлении нарушенного владения ее особняком, дал довод к публичной пропаганде, в самой камере мирового судьи, идей беззакония и правовой анархии.

Со стороны захватчиков выступило двое поверенных: присяжный поверенный М. Ю. Козловский и помощник присяжного поверенного Богатев. Их речи были явным вызовом самой идее правосудия.

Первый, ловкий и талантливый эрудит, софистическим туманом окутал свою, явно большевистскую, пропаганду; второй, более робко и осторожно подпевал ему.

По заявлению Хесина, Совет Присяжных Поверенных возбудил о них

дисциплинарное производство. Они оба аккуратно являлись в заседания совета, и Козловский ловко изворачивался во время допроса свидетелей и в своих личных объяснениях. Дело не получило, до моего отъезда в Норвегию и Данию, своего окончательного разрешения, так как предстояло еще, по ссылке сторон, допросить свидетелей, в том числе мирового судью.

Несколько ранее этого процесса, в одном из сословных общих собраний, мне, в качестве председателя совета, пришлось высказаться по поводу большевистской пропаганды, силившейся овладеть, все еще неспокойным, революционным настроением адвокатской молодежи.

Момент был характерен: только что принятый в сословие стажер решил низвергнуть присяжную адвокатуру в пучину небытия.

Общее собрание, о котором идет речь, было созвано для разрешения вопроса «о совместительстве». Многие адвокаты, устремились на различные государственные должности, считая такое их «сотрудничество» Временному Правительству, временным и желали сохранить свое адвокатское звание. Другие заявляли против этого энергичный протест и я, чтобы положить конец бессистемному произволу, внес вопрос о пределах совместительства на разрешение общего собрания присяжных поверенных. В это собрание, без права решающего голоса, были допущены и помощники присяжных поверенных.

Собрание было очень людное, и проходило при повышенно возбужденном настроении. Юристы не могли не чувствовать, что почва закона, не говоря уже дисциплины и порядка, начинает уходить из под ног, благодаря бездействию и бессилию власти.

Правительство, выбросившее из своей среды, в угоду Ленину и К<sup>о</sup>., наиболее надежных своих представителей, доминировало теперь на все готовыми авантюристами и интриганами вроде Чернова, Некрасова и им подобных. Чувствовалось отчетливо, что момент близок для вооруженной анархии, если будет упущен и последний момент для обуздания вполне безнаказанной большевистской пропаганды.

Молодой стажер появился не один, его сопровождала группа его соумышленников. Вырвался он со своею страстною и запальчивою речью неожиданно стремительно. Пробовали ему шикать и заставить замолчать. Но я настоял на сохранении порядка, и дал ему договорить до конца при абсолютной, хотя и через силу сдерживаемой, тишине собрания.

Я рад был случаю разобраться публично в его искрометных, бравурных призывах к спасительному большевизму, который надвигался уже отовсюду и не получал ниоткуда отпора.

Речь моя, по постановлению Общего Собрания Присяжных Поверенных была отпечатана и разослана всем советам других судебных округов. Раздавалась она также и молодым стажерам при их приеме.

В одной из ходких столичных газете она появилась вскоре целиком, в других были приведены выдержки из нее.

Множество сочувственных и благодарственных писем, которые я получил при появлении этой речи в печати, было показателем тревожных переживаний среди общей мути опьяненного, до потери рассудка, настроения улицы.

Речь эта не прошла не отмеченною и зоркими цензорами от большевизма. Дня через два, после того, как она, была оглашена в печати, бывший сенатор Кривцов, которого я вполне мирно сменил в должности

председателя комиссии, участливо сообщил мне по телефону:

— Н. П., считаю долгом вас предупредить. Кто предупрежден тот отчасти уже огражден... ваша прекрасная речь, которую я читал с наслаждением, угрожает вам неприятностями...

Моя прислуга бегаёт на все митинги и дежурит по часам в очередях и мясных и булочных. Сейчас она принесла новость: большевики пускают директивы разгромить ваш дом за публичное выступление против большевизма. Примите меры!..

Но какие меры можно было тогда принимать. Я только по ночам возможно позднее караулил чтобы, в случае нападения, успеть во время поднять жену и детей и выводить их в безопасное место.

Неподалеку от нас проживал наш большой, давний друг персидский посланник Исаак-Хан. К нему в посольство, «сесть в бест», т. е. укрыться и могла бы моя семья.

Нападения, однако, в ближайшие дни и даже в течение двух недель не последовало.

Наша прислуга «Марина», ставшая окончательно большевичкой, и от которой, до временного отъезда нашего невозможно было бы отделаться, однажды таинственно сказала мне:

— Что вы не едете за границу?.. В газетах было давно пропечатано, что вас посылают к нашим военнопленным... Ехали бы, что ли!..

## ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ.

Был момент, когда «бескровная» (Sic!) революция, казалось, смела все преграды, открыла все пути ко благу страны, но — увы! — она не сделала зрячими тех, кого вскинула на вершину революционной волны. Они оказались слепорожденными.

— Ах, как дышится легко!— восклицали восторженно, на первых порах, женские интеллигентные уста в предвкушении политического и всякого иного равноправия, те самые уста, которые сейчас искривлены трагическими складками при зрелище мрущих от голода детей и расстреливаемых отцов, мужей и братьев.

Мне и тогда не дышалось легко.

С первых же дней революции и после феерического отречения я не предавался иллюзиям. Я ясно видел, что это, в сущности, даже не революция, идущая, как неудержимый поток, из глубины народной совести, а только беспорядочная свалка между представителями старой, позорно капитулировавшей власти и случайными захватчиками ее.

Кульминационный пункт давних счетов между царским правительством и апологетами революции. Свалка двух довольно поверхностных, хотя и бурных течений. Борьба за власть, и только за власть, двух почти равносильно, беспочвенных элементов: одного изжившего, другого нежизнеспособного.

Заполнявшая Петроград и его окрестности войсковая недисциплинированная масса была элементом готовым к восприятию каких угодно директив, лишь бы ее не заставляли идти на фронт, в окопы, а распустили по домам. Парадирование войсковых частей перед Государственной Думой весьма скоро превратилось в простую забаву и даровое развлечение, а, не серьезное; преклонение перед престижем новой, как все на первых порах рассчитывали, «Думской власти».

Состав «Временного Правительства» определился отнюдь не внутреннею потребностью создания, на смену поверженного трона,

морально-сильного, приемлемого для всей страны, правительства, а случайным подбором эгоистически настроенных политиканов, причем в него попали, какими-то неисповедимыми судьбами и такие ненадежные элементы, как бывший театральным чиновник, миллионер Терещенко (любопытно было бы знать его заслуги в кулисах революции!) и смелый, но не крепкий в седле, политический наездник и бретер А. И. Гучков, только что использовавший удобный случай свести свои личные счета с нетерпевшим его духа, царем и поучительный на профессорской кафедре и думской трибуне, но в высокой степени бестактный и близорукий кадетский лидер Миллюков.

В состав нового правительства только две личности, по своему моральному цензу, были без упрека — князь Львов и Шингарев. Но оба они годились бы в министры только в условиях чуждых тревожной, переходной стадии нашей государственности. Поглощение всех «завоеваний революции» большевизмом не могло быть неожиданностью для наблюдательного свидетеля всего того что, вслед за царским отречением, имело место в тот восьмимесячный период, который будет занесен на скрижали истории неразрывно с именем Керенского.

Энергии пресловутой Государственной Думы хватило весьма не надолго. Ровно настолько, чтобы, свалив весь груз государственной власти на Временное Правительство, тотчас же опочить на лаврах. И даже не опочить, а просто распылиться, стать ничем. Внешне представительный и с зычным голосом, председатель Думы, Родзянко, не только не сумел использовать упавшей на него с неба популярности, но просто струсил, поспешив тотчас же нырнуть в сторону от естественно образовавшегося революционного водоворота.

Теперь, лишь «почетно» председательствуя на благотворительных концертах-митингах, он не прочь был объявить каждому, кто хотел его слушать, что он уже «не у дел», и не ответствен за имеющиеся разыграться последствия.

Как Пилат, он уже умывал руки.

Утверждали, что в свое время он, «с полной откровенностью» предупреждал государя относительно неотложности изменения государственного курса.

Но, если и в Царском Селе его откровенность имела доминирующей нотой своей, лишь ноту свойственную чистоупитанным Понтиям Пилатам, спешащим умыть свои холёные руки при первых признаках осложнений, требующих напряженной высоты духовного подъема, я не удивляюсь, что слова его не дошли ни до разума, ни до сердца недоверчивого и подозрительного от природы Николая II-го.

А, ведь, именно таким Понтием Пилатом проявил себя Родзянко и в самый острый ответственный момент, когда все взоры были еще устремлены на него.

Керенским, состав Временного Правительства, как непроницаемым щитом, думал отгородиться от натиска более настойчивых вождельней честолубивых «углубителей революции».

Не тут то было! Щит оказался только жалкой ширмой, поверх которой Ленин уже лукаво подмигивал, строя свои хитрые гримасы.

Ему, как гораздо более умному и талантливому, не стоило большого труда посчитаться с Керенским. Но, пока, он был ему еще нужен.

Кто же, как не Керенский, мог бы лучше сослужить ему службу?..

Когда генерал Корнилов, а после него генерал Половцев проявили попытки привести бродячую петроградскую армию в некоторый порядок, Керенский, внушаемый «углубителями», систематически ставил им препоны, не давая использовать, на первых же порах, их несомненной популярности даже среди уже развращенной, разнузданной армии.

Угнетал страх контрреволюции.

Но после поголовной измены царю, опасения эти надолго могли быть забыты. Все прежние царевы слуги были, до жалости, ничтожны и бессильны. Они помышляли теперь только о собственном своем спасении.

А, наряду с этим, на половину уже «распропагандированную» армию поощряли встречать с помпой, с музыкой и с кликами «ура» не только освобождаемых из тюрем и каторги бывших террористов, но и самого Ленина, с его свитой, прибывшего через Берлин в запломбированном вагоне. Не мудрено, после этого, что авторитет Ленина, Троцкого и Ко., хлынувших волною на Петроград, был заранее обеспечен. Расплодившиеся в тоже время и совершенно обнаглевшие вражеские агенты также не дремали. Они, почти открыто, гнули свою линию.

Не говоря уже о совершенно открыто функционировавшей кафедре «дворца» балерины Кшесинской, на всех перекрестках столицы группы празднующих солдат и рабочих днем и ночью просвещались в духе большевизма и анархии.

«Свобода» при Керенском торжествовала вовсю и он очень гордился этим.

Соблазненный тем, что именно ленинцы на первых порах не только не препятствовали ему забираться на вершину власти, но даже всячески этому способствовали, он самоуверенно лез все выше по стволу вновь насажденного «государственного дерева». При этом он еще спешил тщательно обрубать за собою все попутные ветки, по которым взбирался, чтобы не вздумал с ним кто-нибудь конкурировать. Со слепым рвением честолюбивой белки, возвращенной в партийно-замкнутом колесе, Керенский карабкался все выше и выше.

Вот он уже не министр юстиции, где еще мог разбираться кое-как; он уже и военный и морской министр; он и главнокомандующий и председатель Временного Правительства (князь Львов от Черновского угара едва не задохнулся и дольше выдержать не мог) он уже в Зимнем дворце и, не сегодня, завтра, — всемогущий диктатор.

Говорят, что на предпарламентском собрании в Москве он уже стал заговариваться: хотел сказать «Россия», а сказал — «Держава Наша».

Не мудрено, вышка державы российской на головокружительной над землею высоте, а он уцепился уже за самую ее вершину. С этой вышки полчища преданные незаменимому Корнилову, надевавшемуся еще спасти Россию, привиделись ему лишь кошмарной угрозой его бредовому величию. Партийному ставленнику слишком сладко спалось на царской кровати.

А в то время Ленин, лишь своею мефистофельскою усмешкою считался с платоническим приказом о своем аресте, благополучно отсиживаясь в Кронштадте. Он продолжал делать свои шахматные, замысловатые ходы и они были верны. Арестовали не его Ленина, а генерала Корнилова, которого он только и мог опасаться.

Этого момента ленинцы только и ждали.



Теперь они могли действовать открыто.

Им оставалось только тряхнуть «державное древо», стараниями самого Керенского превратившееся в голую мачту, чтобы честолюбивый лилипут, уцепившийся за ее вершину, шлепнулся на землю, распластавшись на ней, со всего размаха, как тряпичная кукла.

Тряпичная, к личному своему благополучию.

Из более ценного материала и кукла разбилась бы вдребезги, без остатка.

Характерно, что не один Керенский, обладавший лишь ограниченным, узко-партийным кругозором, но и более его образованные главари и лидеры кадетской партии так попались впросак, и уже только после большевистской экзекуции поняли то, что обязаны были понимать ранее, чем устремляться на публичную политическую арену и революционирование страны.

Я имею в виду, как пример, лекцию, читанную Родичевым в Киеве (пока еще туда не добрались большевики) на тему о том что народ наш еще не созрел до вершин идеалов российской интеллигенции, почему и получился в итоге бессмысленный и жестокий бунт, а не планомерное освободительное движение.

Уже одна, почти повальная, крепость задним умом, характерный признак для суждения о той интеллигенции, которая устремилась созидать новую Россию. Заоблачные высоты ее идеалов всегда мешали ей наблюдать действительность. Она считала ретроградом каждого, кто, отличаясь большею вдумчивостью, не хотел слепо следовать за нею искать спасения в революции...

И вот она дождалась ее.

И очутилась тотчас же в положении гоголевской унтер-офицерской вдовы, которая «сама себя высекла».

## ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ.

Но большевистское засилье доказало только одно: что твердая, абсолютно твердая власть необходима России, и что наша интеллигенция, весьма талантливая в качестве «оппозиции», никуда не годится в качестве творческой, правящей силы.

Поглядите хотя бы на нашу «буржуазную» бесспорно (талантливую) печать после февральского переворота. Все, или почти все, превратились разом в демократических республиканцев, да и каких ярых, непреклонных. Ни малейшего соображения о том, что в сознании народа пустое место царя означало вообще пустоту, из которой вполне естественно выскочил дьявол большевизма.

А все эти Родзянко, Гучковы, Милюковы, потерявшие голову и не усадившие, хотя бы насильно, Михаила на престол.

Тогда была бы еще борьба, может быть, также кровопролитие, но гораздо менее для России позора, страданий и унижения, чем выпало на ее долю теперь.

Я убежден, что клич нового царя с реальной, немедленно осуществленной, программой настоятельных аграрных реформ сплотил бы сильную партию и в войске и в простом люде, в глазах которого, с падением царя, рухнуло все земное и небесное, и воцарилось одно дьявольское.

Но все умывали руки, спасая только себя, выставляя на

общественный показ жалкого дергуна Керенского, в качестве спасительной революционной эмблемы.

Ему же решили взвалить на плечи тогу «диктатора», когда уже бессилие спасительной революции ярко обозначилось.

А у будущего диктатора уже давно кружилась голова от упоения властью и собственного бессилия.

В конце концов, на протяжении всех восьми месяцев ни одного верного, смелого шага, ни проблеска такта и властного чутья.

Он не потерпел подле себя ни одного выдающегося, энергичного человека. Собрал со всего света оторванных от России и ее интересов беспочвенных революционеров, насытил партийными друзьями все щели правительственных комиссий и канцелярий, стяжал громовые рукоплескания на подмостках всех столичных театров и лопнул, как мыльный пузырь, каковым он был в действительности.

И эта-то, потешная «государственная» фигура стоила России столько крови и унижения, столько бедствий.

От него реально остались России в виде плодов «бескровной» революции только потоки горячей невинной крови и «отмена смертной казни» на бумаге, да «еврейское равноправие» с последующим «штыком в живот» для всей российской, в том числе и еврейской, буржуазии.

Не в счет программы, общее разграбление, унижение и паралич моральных ценностей России.

И этот человек не справился с самим собой в сознании всей глубины своей заслуги перед родиной. Нет, он благополучно улизнул из большевистских лап, которые душили всех невинных направо и налево, улизнул мастерски, как умеют укрываться только преступники, либо входя в стачку с блюстителями порядка, либо переодетые, проживающие по подложным паспортам.

Костюмироваться по маскарадному Керенский вообще любил, и был на это мастер.

Как мне в свое время передавали, он однажды в масляницу явился в квартиру одного думца, где собрались гости, в облачении древнего римлянина времен республики, с мечом в руках. Все нашли, что в шлеме, из под которого торчали его характерно-растопыренные уши, и с мечом в руках, на своих тонких ногах, он весьма удачно выразил стойкую храбрость русского революционера.

Позднее ему пришлось маскироваться уже не по случаю масляницы.

Поцарствовав недолго в рабочей куртке, во имя углубления революции, и затем в походной форме потешного «главнокомандующего», он бежал из Зимнего дворца, как утверждали, в платье и в головной косынке сестры милосердия, что при его брито-бесцветной физиономии, дало ему возможность благополучно скрыться. В каком костюме он в последствии удирал от большевиков за границу мне в точности не известно.

Лишь бы это удачное бегство не выпало ему в награду за своевременное благополучие самого Ленина, когда последний должен был быть безотлагательно арестован, чтобы предстать на суде в качестве неприятельского агента.

Был момент, когда я всеми силами был готов поддерживать Керенского. После отречения Михаила Александровича и распыления Государственной Думы, поневоле, приходилось все надежды возлагать на него одного.

В бытность его министром юстиции я старался не колебать его

авторитета, в надежде, что он постарается справиться со своей нелегкой задачей, а когда он ездил на фронт, бодрить войска, выражал ему свое сочувствие. Я еще хотел верить, что он найдет момент, забыв узкую партийность, подумать, о России и поставить ее на ноги.

На первых порах и вплоть до ареста Корнилова, ему представлялось для этого несколько прекрасных случаев.

Но тупая недалекость революционного послушника, каким он был во всю свою предыдущую карьеру, дала ему возможность уподобить свою участь лишь участи самозванца, выброшенного из Кремлевского дворца, также стремительно, как был выброшен он из Зимнего дворца, куда забрался не по праву, не проявив ни черточки, приличного для такой обстановки, величия.

Уже в качестве министра юстиции он повинен в тяжком бездействии власти, когда тонеры большевизма еще сами давались ему в руки, как наемные агенты и ставленники воюющей с нами Германии. Когда же, добравшись до главнокомандующего и председателя Временного Правительства, он помешал генералу Корнилову исполнить свой патриотический долг, с решительным ударом по анархии, он прочитал себе отходную.

Сейчас для России Керенский только зловещий призрак страдальческого горячечного бреда. Для будущего историка России яркая эмблема бессилия и растерянности в трагическую минуту ее ответственного исторического бытия.

Но один он этого еще до сих пор не понимает, и «с легкостью в мыслях» пытается еще что-то говорить вне России о России и от имени России. Какою моральною тупостью нужно обладать, чтобы не понимать, что им навсегда утрачено на это право!

Бесформенные призраки больше не нужны России. Право отделаться от них навсегда, она купила слишком дорогою ценою. Чем энергичнее воскреснут ее силы для разумного государственного строительства, тем скорее имя Керенского будет предано забвению.

Для меня (да я думаю; и не для меня одного) остается еще только вопрос был ли Керенский только честолюбивым ничтожеством, голова которого пошла кругом от первых глотков власти, или он был похуже этого?

Как ни постыдно признаться в этом, но приходится признать, что разыгравшаяся не во время, антипатриотическая революция наша, явившаяся результатом многосторонних своекорыстных побуждений, к тому же и нечистоплотная.

И Керенский, в этом отношении стоит передо мною мучительной загадкой.

Думаю, однако, что в этом, по крайней мере, он чист. Деньги на революцию плыли не от одних противников и, во всяком случае, не к нему лично. «Собрать революционные силы», т. е. организовать планомерный подкуп или даже наладить интенсивную пропаганду среди темных элементов в войске Керенский едва ли бы мог уже в силу того, что его «политическая неблагонадежность» была слишком на виду, и его подпольная миссия была бы обнаружена. И революционировал он, главным образом, интеллигентные круги и Государственную Думу, слепую, но не продажную, и не был продажен сам.

Заканчивая эти беглые наброски «о революции и о России», не претендующие отнюдь на исчерпывающую законченность и не отличающиеся, по понятным причинам, объективным спокойствием, мне хотелось бы установить лишь ту точку зрения, с которой прошедшие перед моими глазами события получили свое освещение.

Форма правления для меня была всегда, отчасти, безразлична. Я не видел и не вижу панацеи от всех зол ни в конституции, ни в республике.

Как никак, наше самодержавие, на протяжении веков, умудрилось каким-то чудом (раз форма общежития должна быть, пока что, государственная) иметь в своем распоряжении огромную территорию, могущую с лихвой обеспечить благосостояние всего русского народа.

Это — плюс!

Распределение этого богатства было неравномерно-уродливо, но, едва ли, более уродливо, чем в соответственные времена в других странах.

Освобождение крестьян от крепостной зависимости прошло мирно, и также мирно могло бы пройти и наделение крестьян дополнительно землею, и урегулирование (легче чем в других странах), на вполне справедливых основаниях, рабочего вопроса.

При истинном самодержавии, каким оно рисуется в моем идеале, это всего успешнее и безболезненнее могло бы, быть выполнено.

Само по себе самодержавие, как форма правления, не хуже и не лучше других громоздких и сложных государственных аппаратов, распложающих в виде тормозящей накипи, не мало неизменнейших явлений, в вид подкупа, случайного партийного засилия и того цеха политиканов, который вбирает в себя отнюдь не самых чистых и честных, а, по преимуществу, ловких и юрких честолюбцев.

«Всеобщая, тайная, равная», при низком уровне народного развития, ни мало не обеспечивает ни хорошего правления, ни мирно-поступательного развития страны.

Но, само собою, разумеется, что монархический образ правления, чтобы приблизиться к своему идеалу, требует гигантских, почти сверхчеловеческих, сил от правителя.

А гиганты, а тем паче сверхчеловеки, весьма редки.

Это огромный минус монархизма.

В России (как это было достигнуто — безразлично) очень, очень долгое и еще в недавнее, сравнительно, время в глазах народа царь был именно олицетворением такого сверхчеловека.

Он мог многое, он мог все.

Втихомолку царей (Петра III, Павла I, Александра II), убивали, вступал на престол новый, но народ оставался чужд преступному посягательству, оно не исходило от народа, царь в глазах народа оставался священным и неприкосновенным.

Этого не только не учла распложавшаяся именно под сенью монархизма, и достигавшая, за счет народа, всех жизненных вершин, интеллигенция, но, из поколения в поколение, легкомысленно вбивала себе в голову, что царь для народа уже ничто, а она истинная государственная сила, и что стоит лишь убрать царя, как наступит благоденствие для народа, а для нее слава спасения отечества.

Царей, благодаря непрерывным бунтарским покушениям и травлям, озлобившихся, отупевших, оторвавшихся от общения с народом, изверившихся в целесообразность поступательных реформ, загнали в их мрачные берлоги обскурантизма, где им не оставалось больше ни о чем помышлять, как только о самосохранении до следующего дня.

К великому горю России среди них не нашлось ни одного, героически скроенного типа, который пошел бы сам властно к народу, минуя, честолюбиво злопыхавшую на всякую власть, интеллигенцию, в тайной жажде присвоения власти себе.

Власти не нравственного авторитета, которая одна ей должна быть присуща, а реальной власти, с военным караулом для своей охраны, со всею помпой и атрибутами царственного величия.

Вслед за февральской революцией, противно было глядеть, как все бывшие «революционеры» стремительно, тотчас же расселись по придворным экипажам и автомобилям, как они жадно устремились ко всевозможным экстренным ассигновкам им государственной казны.

Ни тени величия и простоты самопожертвования, которые одни, в глазах народа, могли бы найти отклик и оправдания за свершенное.

Вся эта партийная клика, уже с места, производила впечатление группы авантюристов, забравшихся в Зимний дворец, чтобы поделить ризы царицы.

Немудрено, что престиж их, даже внешне, также быстро пал как, по недоразумению, возник, и достаточно было «вражеско-большевистского» щелчка, чтобы все их величие низвергнулось в пропасть анархии.

Какой же итог для России от февральской революции, проведенной на подпольные деньги, и вправе ли Россия именовать ее «великой»?

Если бы, по ходу исторической революции, настала уже пора внегосударственного людского общежития, о России не стоило бы больше говорить.

Но думаю, что идея родины еще надолго будет присуща людям, и государственная форма охраны ее еще не изжила свой век. Искалеченной России долго придется еще собирать свои силы, чтобы вылиться в здоровый и сильный государственный организм.

Не разразись наша «великая» во время и без того, великого напряжения народных сил, я убежден, что, с окончанием войны, ей открылся бы широкий путь к свободе вполне нормально. В союзе с Англией, Францией, Италией и Америкой, вслед за окончанием войны, Россия не могла бы оставаться; позади. Истинная конституционная монархия на твердых законных и, по возможности, не сложных началах, была бы вполне нормальной формой правления для России.

Но, теперь большой вопрос: что станет с Россией?

Опрокинув в грязь и оросив кровью престиж царя, дотеле неслыханной, в глазах народа, силы, Россия разом очутилась в положении рассыпавшейся храмины.

В доброй мере мы этим обязаны самому царизму, в том его виде, как его использовали приближенные к престолу.

Все, что было революционного в зародыше в России, революционировалось ими, по тупому неразумению до конца, до высшего напряжения, причем для широких народных кругов лишь в

таинственном дымчатом ореоле выделялись, случайно отдельные фигуры, каких-то легендарных мучеников, жертвующих жизнью и свободой «за народ».

Не будь тупой цензуры и упрямого запрета, в народное сознание теперь не влилось бы революционное движение, как нечто, упавшее к нам с неба, нечто неведомое, и потому обаятельное, уже самой новизной своей. Разве до революции широкие круги разбирались во всех этих: социал-революционерах, террористах, социал-демократах, трудовиках, меньшевиках и большевиках!

От них правительство отделялось, без разбора, только виселицей, ссылками, каторгой и тюрьмами, и официально диктуемым молчанием в печати.

А следовало поступать, как раз, наоборот.

Из цикла фрондирующих, либеральствующих, сколько-нибудь выдающихся общественных сил, правительство должно было вбирать в себя систематически все самое энергичное, жизнеспособное. Сколько нетчиков в делателях революции оказалось бы тогда. И сколько развенчанных заблаговременно имен, воссиявших на революционном горизонте, не привиделись бы ошеломленному народу ни богатырями, ни спасителями отечества.

Ведь надо же правду сказать: сколько жалкого ничтожества рядило наше правительство в тогу мучеников и будущих вестников свободы. Вместо того, чтобы отделяться от комариной стаи хлопучками, оно замахивалось на нее не иначе, как дубиной, превращая ее в нечто, заранее, обаятельно-грозное.

А много ли действительно обаятельного и грозного проявили наши, заранее к этому готовившиеся, «политические деятели», — это показала нам «великая революция» на первых же порах.

Грозным оказался, в конце концов, один большевизм, вобравший в себя все бессознательное, взбаламученное разочарованием в силе и престиже царской власти. Не будь этой психологической черты в успехе большевизма, одними теоретическими своими построениями, он не завоевал бы себе много адептов в России.

Но, схема: «Чем хуже, тем лучше!» — всегда одуряющей отравой, любовно льнула к русской душе в минуты отчаяния и беспомощной растерянности.

Что же вызвало и это отчаяние и эту растерянность? Откуда кровавая дисциплина власти у большевиков? Откуда их сила двигать свои полчища тогда, когда их не могли сдвинуть с места никакие потуги первых деятелей революции? Откуда явное бессилие революции в том виде, как она всегда снилась русской интеллигенции, и как она планировалась осуществиться?

Ответ ясен: потому, что она была не только не нужна, но вредна и в высшей степени опасна для России, в ту минуту, когда разыгралась.

Она явилась сочетанием внешних вражеских усилий и слепорожденного самомнения нашей интеллигенции. Большевизм, со всеми своими бурными излишествами, логический вывод из нее, и жестокий, кровавый урок истории.

России предстоит долгий, тернистый путь нового строительства.

Но отпевать и хоронить ее рано.  
Жестоко ошибается тот, кто уже, злорадно, теперь именует ее:  
«бывшей»...  
Она еще: «будет»!  
Но пока еще руки у нее связаны...  
Кто их развяжет и даст ей очнуться от только что пережитого  
кровавого угара, тот явится истинным народным героем.  
Да сбудется!

Катя Клясова

1918г.

А. Каралевский